



Анна Берсенева

MAINSTREAM



COLLECTION

Вокзал
Виктория

Анна Берсенева
Вокзал Виктория

«Анна Берсенева»

2014

Берсенева А.

Вокзал Виктория / А. Берсенева — «Анна Берсенева», 2014

ISBN 978-5-699-76699-4

Со сложностями можно справиться. А как справишься с обстоятельствами непреодолимыми? Именно в их тиски попадает Виктория. Жизнь, которую она с самого детства выстраивала напряжением всех своих сил, вдруг рушится, и не по ее вине. При этом у Вики зависимая профессия, ее сын вот-вот вступит в сложный переходный возраст, вдобавок ей некому помочь. И Виктория принимает неожиданное решение, которое полностью изменяет ее жизнь. Вознаградит ее судьба за такую решимость или, наоборот, сломает? Кажется, это решается не только в настоящем, но и в прошлом, о котором Виктория не подозревает...

ISBN 978-5-699-76699-4

© Берсенева А., 2014
© Анна Берсенева, 2014

Содержание

Часть I	6
Глава 1	6
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	15
Глава 5	17
Глава 6	22
Глава 7	26
Глава 8	32
Глава 9	36
Глава 10	41
Глава 11	47
Глава 12	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Анна Берсенева

Вокзал Виктория

© Сотникова Т.А., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Часть I

Глава 1

А приятно, когда в честь тебя что-нибудь назвали! Особенно что-нибудь такое основательное, как вокзал Виктория. И даже если ты точно знаешь, что назвали его вовсе не в честь тебя, то можешь на этот счет обманываться, и это будет не худший самообман в жизни человека и в твоей собственной жизни.

Ступеньки вокзальной лестницы были, кажется, латунные, они тускло поблескивали под ногами, и понятно было, что люди, когда-то сделавшие такие ступеньки, считали свою жизнь не случайностью, а звеном в бесконечной цепи.

– Мам, смотри, какой чел!

Витьку, конечно, не могла заинтересовать такая ерунда, как ступеньки, будь они хоть из чистого золота. Он во все глаза смотрел на вокзального служащего.

Если бы не форменная одежда, Вика никогда в жизни не догадалась бы, что это служащий железной дороги.

– Я себе тоже такую штуку сделаю! – уверенно заявил Витька.

– Не глазей на человека, здесь это не принято.

Вика легонько подтолкнула его в спину и едва удержалась от того, чтобы взять за руку и утащить подальше. Хорошенькие идеи приходят ему в голову! Ей вовсе не хотелось, чтобы сын побрился налысо, оставил только полоску посередине головы, выкрасил эту полоску в яркий цвет и соорудил из нее петушиный гребень. Именно так выглядел служащий железной дороги, на которого Витька озирался все время, пока поднимались по лестнице; чуть шею не свернул.

Чтобы ее ребенок украсился петушиным гребнем – эта идея Вике не понравилась. Но что с такой прической, доброжелательно улыбаясь, прекрасно себя чувствует среди бела дня человек в форме, – понравилось очень.

Даже огромный, подавляюще чужой вокзал Виктория показался ей после этого как-то поуютнее. Она заметила, что и Витька приободрился тоже.

Если бы не он, Викина бодрость не продлилась бы долго. Купить билеты заранее через Интернет – на это она еще была способна. Но разобраться, что делать с этими билетами и куда идти в гигантском, шумном, людном пространстве лондонского вокзала, – это было уже выше ее способностей. По счастью, у Витьки все эти незнакомые объемы если и вызвали растерянность или даже опаску, то он скрывал это от себя и тем более от мамы.

– Нам вон туда.

Он махнул рукой направо, где, по Викиному представлению, был тупик, и вытянул ручку большого чемодана, намереваясь двинуться в этом направлении.

– Почему именно туда? – машинально спросила Вика.

Она привыкла следить, чтобы поступки сына были осмысленными, а не какими придется. Чтобы он жил не наобум святых, как школьная уборщица Глафира Фоминична говорила. Про святых Витька не думал, но склонность делать что в голову взбредет, без лишних размышлений, была ему присуща. Из-за такой особенности его характера Вика всегда дотошно выпрашивала, зачем да почему он поступает так, а не иначе.

Она вообще глаз с него не спускала и привыкла знать о каждом его шаге. Но об этом теперь лучше было не думать.

– Потому что оттуда наш автобус уходит, – объяснил Витька. – В прошлый раз мы же туда шли, не помнишь, что ли?

Ничего Вика из прошлого приезда не помнила. Она тогда была ошеломлена так, что ей было не до разглядывания вокзала Виктория.

Правда, в прошлый раз и Витька был растерян не меньше, а может, и побольше, чем она, и даже дом Шерлока Холмса, в который он так рвался, из растерянности и подавленности его тогда не вывел. Но вот запомнил же, где останавливается нужный автобус.

А она из первой поездки запомнила только свое смятение, больше ничего, и Лондон весь остался в тумане того смятения, поэтому теперь Вика увидела его как будто впервые.

Этот город был прекрасен.

Можно было, конечно, списать свое восхищение на то, что не так уж много она видела в своей жизни больших городов. Но Париж ведь видела, а значит, есть с чем сравнивать. Утонченное совершенство Парижа она не могла забыть и знала, что города более красивого ей не встретить никогда, и от Лондона ничего в этом смысле не ожидала.

И вдруг, глядя на Лондон из окна автобуса, поняла, что такое город. Не этот именно город, столица Великобритании, а город вообще – явление его в человеческой жизни. Наверное, Вика поняла это даже раньше, еще когда поднималась по латунным ступенькам вокзала Виктория. За сотни лет прошли по ним миллионы ног, так и было нужно, в том и состоял смысл этих ступенек. Сотни лет они выполняли свой долг и приобрели от этого значительность такую же очевидную, как тусклый и глубокий блеск латуни, из которой были сделаны.

И вереница домов вдоль улицы, и каждый кирпич их стен говорили безмолвно и прямо: мы появились потому, что люди решили жить вместе и выработали для себя правила, без которых их общая жизнь невозможна. Люди сделали это раз и навсегда. И все мы: дома из потемневших кирпичей, просторные парки, красные телефонные будки – есть незабываемое свидетельство того, что правила, по которым люди однажды решили жить, пребудут вечно.

– А Петр Первый тоже в Оксфорде был, – глядя в окно, сказал Витька.

Вика вздрогнула. Меньше всего интересовал ее сейчас Петр Первый.

– Разве? – спросила она. – Я не знала.

– Точно был. Мы его по истории недавно проходили.

«Что ты теперь будешь проходить по истории? – подумала она, глядя на Витьку. – И при чем к этой истории буду я, вся моя жизнь, наша с тобой жизнь?..»

От этой мысли ее охватил мгновенный ужас. Паническая атака – Вике уже и медицинский термин был известен.

Но не зря все, кто ее знал, говорили, что она умеет держать себя в руках. Другие от таких атак таблетки принимают...

«А что ты ему можешь предложить взамен? – сказал ей холодный голос. – Тысячу раз все обдуманно – хватит».

Конечно, это был ее собственный внутренний голос, но прозвучал он отрезвляюще, будто со стороны.

– Мы, наверное, опоздали, – сказала Вика. – Рабочий день закончится, и нас не примут.

Самолет из Москвы прилетел в Гэтсвик, до вокзала Виктория из этого дальнего аэропорта пришлось ехать гораздо дольше, чем из Хитроу, зато перелет стоил в пять раз дешевле, и это не оставляло выбора. Во всяком случае, Вике.

– Думаешь, нас на улице оставят? – усмехнулся Витька. – Вряд ли. Мы же сообщили, что сегодня приедем. Значит, дождутся.

Прав ее сын, конечно. Они в разумном мире, здесь люди ведут себя человечно не только в силу личных душевных качеств, но и потому, что доброжелательность является частью общей разумности. И которое-нибудь из двух проявлений доброжелательности, личное или общее, сработает обязательно.

Глава 2

Испытывать сотрудников школы на доброжелательность не пришлось. Когда Вика и Витька, запыхавшись от торопливой пробежки с чемоданами по Оксфорду, подошли к воротам, до окончания рабочего дня оставалось полчаса. И их действительно ожидали.

– Ну что, Вик, ты не все лето играл в стратегии? – спросил учитель, который беседовал с Витькой перед поступлением.

Тогда он обсудил с ним какую-то книжку, которой Вика даже в руках у ребенка не видала – потом выяснилось, что Витька читал ее в Интернете, – попросил решить пару задач и уравнений, поболтал еще о чем-то – она не поняла ни слова, – и в результате всего этого сказал Вике, что знания у парня приличные, английский неплохой, но вот только компьютерным играм он уделяет слишком много внимания, в этом его надо ограничивать.

«Я в этом ничего не понимаю, – чуть не сказала Вика. – То ли он играет, то ли полезное что-нибудь делает – как это узнать?»

Но вслух она этого тогда не произнесла: и позориться не хотелось, и не очень-то могла выразить свою мысль по-английски; собственно, тоже не хотелось позориться.

А учитель вызвал у нее тогда доверие, и она была рада, что именно он встретил их в первый школьный день. Он похож был на улыбчивого служащего с алым гребнем на вокзале Виктория, этот учитель, хотя прическа у него была самая обыкновенная.

– Виктория, я попрошу вас уехать сегодня.

Они переходили через дорогу – дома, в которых жили ученики, стояли на противоположной стороне от школы, – и в уличном шуме его голос прозвучал приглушенно.

– Что, простите? – переспросила Вика.

– Будет лучше, если Вик сразу погрузится в школьную жизнь. Вы можете навестить его через неделю. Но не будет правильно, если в эти первые дни вы станете приходить ежедневно. Это мешает ему ощутить новое в своей жизни и понять, как соотнести это новое с прежним.

Она поняла сказанное не полностью, а лишь в самых общих чертах. Но и общих черт было достаточно.

– Но я... – растерянно проговорила Вика. – Я должна... билет. У меня обратный билет завтра... вечер. – Скучный английский усиливал ее растерянность еще и косноязычием. Обязательно начнет заниматься! – Я могу только завтра утром. Я не могу через неделю прилетать. Наверное, – зачем-то добавила она.

Ей было стыдно объяснять, что она вообще не знает, сможет ли навещать своего сына. У этого приятного человека, который доброжелательно смотрит на нее и говорит с вопросительной интонацией, чтобы ее не обидеть, – у него, может, обморок случится, узнай он, что мать не будет навещать своего ребенка, то есть непонятно, когда сможет навещать, но в ее положении это «непонятно когда» – просто малодушная маскировка реальности...

– В таком случае вы можете увидеться с Виком завтра после занятий.

Видимо, учитель счел за благо не спорить со странной женщиной.

Дом, в котором предстояло жить ее сыну, не был, конечно, похож на квартиру в привычном понимании, но и интернатом все же не казался. В первый приезд Витька, правда, был разочарован, когда убедился, что если старое здание школы с натяжкой можно считать Хогвардсом, то жилой дом совсем не похож на школу волшебников. Но Вика тогда сопрягла у себя в голове две фразы – что снявши голову по волосам не плачут и что пусть это будет самое большое разочарование в его жизни, – и сочла дом приемлемым.

Да и что здесь могло показаться ей неприемлемым? Большая столовая внизу – хоть и не старинная, но с такими же длинными столами, как в сказочной школе. Лестница на второй этаж, к спальням. И в столовой, и в спальнях чувствуешь себя так, что становится понятно

значение слова «покойно». Воспитатели улыбочивые, и улыбки их не выглядят нарочитыми. Вот только то, что на тридцать мальчишек приходилось всего два воспитателя, мистер и миссис Питт, у которых к тому же имелось трое своих детей, и старшему из них было всего десять, – вызвало у нее некоторую опаску.

Но что с этим можно было поделать? Пойти в воспитательницы самой? Она бы пошла, да кто ее взял бы.

– Мальчики сейчас в школе, – сказал учитель. – Я подожду на улице. Миссис Питт поможет Вику разложить вещи, а потом я провожу его туда.

Миссис Питт улыбнулась. Витька поспешно кивнул. Слишком поспешно. И судорожно сглотнул при этом – Вика заметила, как дернулось его горло. Паника охватила ее снова, ударила мгновенно.

Взять Витьку за руку и уйти. И чемодан забрать, не надо раскладывать вещи. Поменять билет. То есть не поменять – просто взять второй билет, для Витьки. Это правильно. Сейчас она чувствует, что это правильно.

«Ты знала, что так будет. Твое решение не было спонтанным. То есть было, но оно правильное, и ты поняла это сразу, как только оно пришло тебе в голову. Оно единственное правильное из всех возможных. Да их просто и не было, возможных. Было только вот это, невозможное. Ты его приняла и осуществила. И то, что ты чувствуешь теперь, это всего лишь...»

– Не волнуйтесь. Вашему мальчику будет у нас хорошо.

В голове миссис Питт слышалось сочувствие. Но это и понятно: то, что испытывает мать, оставляя ребенка одного в чужой стране, вызывает у всякого нормального человека именно сочувствие, и миссис Питт не исключение.

– Меня зовут Мэри, – сказала она. – А мужа Джерри. Он сейчас повел дочку к стоматологу. Вы можете звонить нам в любое время. В России ведь теперь уже ночь? – с любопытством спросила она.

– Вечер, – ответила Вика. – Поздний вечер. Плюс четыре часа к вашему времени.

– Но разве должна быть такая большая разница? – удивилась Мэри. – Ведь Земля вращается иначе.

Вика и сама не понимала, почему нужно было установить московское время так, как взбрело в чью-то неумную голову. Но сейчас ей было не до того, чтобы обсуждать разницу во взглядах на вращение Земли в Англии и в России.

– Вы хотите еще раз посмотреть ванную? – спросила Мэри, когда Витькины вещи были сложены в тумбочку и одежда развешана в шкафу, где каждому мальчику было отведено свое отделение.

– Спасибо. Мы уже видели. Или там что-нибудь изменилось? – уточнила Вика.

– Ничего не изменилось, – улыбнулась Мэри.

Кто бы сомневался. Если в Оксфорде есть дома, которые не изменились за пятьсот лет, то что могло произойти за три месяца с ванной комнатой? Ну, плитку новую положили, может. И то вряд ли – прежняя была хороша.

– Дети сейчас в комнате для творчества, – сказал учитель, когда вещи были разложены и Вика с Витькой вышли к нему из дома.

Он деликатно отвернулся, чтобы не мешать ей проститься с сыном.

Паника у нее внутри стала такой сильной, что закружилась голова и в глазах потемнело.

– Пока, ма, – сказал Витька.

Он смотрел в сторону, и вид у него был такой несчастный, что Вика почувствовала: сейчас она не просто заплачет, а забьется в истерике.

Она знала, что все это произойдет нелегко. Но что у нее при этом будет чувство, будто она не в оксфордской школе своего ребенка оставляет, а в концлагере, – такого она все-таки не предполагала.

– Я завтра приду! – воскликнула Вика. – Вить, мы с тобой завтра попрощаемся!

– Ага.

Он кивнул и пошел к воротам. Открылась калитка. Мелькнули за ней лужайки – поля для тенниса и крикета. Когда полгода назад Вика вошла за эти ворота, поля понравились ей больше всего. Именно такой она представляла английскую школу – с просторными ярко-зелеными полями для игр. И комната для творчества, в которую Витька сейчас направлялся, тогда понравилась ей тоже. Картины висели на стенах, и стояли мольберты, и лежала на столе скрипка... Скрипка, правда, объяснил ей тогда учитель рисования, оказалась в той комнате только потому, что дети писали с нее натюрморт, а музыкальная школа располагалась в отдельном большом здании.

Обо всем этом можно было только мечтать. Вернее, обо всем этом даже мечтать было нельзя. Но горе не становилось меньше. Не растерянность, не печаль, а именно глубокое, неизбывное горе. Вика не понимала, с чем оно связано, лишь смутно чувствовала, что не с расставанием только, а с чем-то большим – более значимым и значительным.

Витька исчез за воротами. Вика зажала себе рот обеими руками. Глаза у нее были сухими, но изо рта рвался не крик даже, а дикий, ужасающий вой.

Глава 3

Всю жизнь, с самого детства, Вика была любопытна.

Ну просто ей все было интересно. Она не понимала даже: скучно – это как? Что человек чувствует, когда скучает, с чего у него это начинается, что происходит с ним потом? И чем заканчивается его скука – человек засыпает?

Когда Вика была маленькая, то не могла в этом разобраться. Но и к тридцати своим годам она этого не узнала. Во всяком случае, не узнала на собственном опыте.

И, конечно, в любой другой день любопытство заставило бы ее обойти Оксфорд вдоль и поперек, заглянуть за каждую незапертую калитку. Тем более что – она читала – в некоторые колледжи, самые старые, даже экскурсию можно было взять.

Но сейчас это казалось ей странным, даже диким. Ну как она пойдет на экскурсию в колледж Крайст-Черч, где снимали фильм про Гарри Поттера? Зачем она пойдет туда одна, без Витьки?

«Надо было мне с ним быть... отдельнее. – Мысли в ее голове кружились бессвязно, но от этого не становились менее мучительными. – Тогда все это не было бы теперь так тяжело».

Вика не относилась к мамашам, которые рассматривают ребенка как оправдание бессмыслицы собственной жизни и требуют от него, чтобы он этой странной миссии соответствовал. Ей достаточно было лишь приглядывать за Витькиными повседневными занятиями, она вовсе не стремилась в них вмешиваться, да у нее и времени на это не было.

Но за тем, что было в его жизни не повседневностью, а главным содержанием, Вика не со стороны наблюдала. Это вообще не называлось таким отвлеченным словом, как наблюдение.

Когда в восемь лет Витька влюбился в одноклассницу Катю, а та не отвечала ему взаимностью, потому что была настоящая оторва, росла как трава в поле и Витьку считала занудой-отличником, с которым нормальной девчонке интересно быть не может, – когда все это происходило в жизни ее сына, Вика переживала едва ли не больше, чем он сам, хоть виду и не подавала.

И его ссора в третьем классе с лучшим другом Серегой не казалась ей ерундой. Серега пообещал, что Витька поедет с ним и с его отцом на три дня рыбачить, и Витька волновался, мечтал, предвкушал, готовился, накопил червей и сделал гороховое тесто для наживки, а Серега преспокойненько уехал без него и, как потом выяснилось, даже не сказал отцу про своего друга. Пожадничал, хотел единолично хвастаться всему классу тремя днями, проведенными в лесу на дальнем берегу водохранилища, и фотографиями пойманной щуки. Это было самое настоящее предательство, первое в Витькиной жизни, он переживал ужасно, и Вика переживала тоже, и забыла об этом предательстве даже позже, чем он.

Она знала, что ее сын нервнее, чем выглядит в глазах окружающих, что он болезненнее переживает разочарования, чем большинство людей, что он совсем не обидчив, но и совсем не подозревает в людях зла, и что все это делает его очень уязвимым в мире, который в основном состоит из неуязвимых толстокожих людей.

Она знала о нем так много именно потому, что он был неразделен с нею, она всегда считала это благом, и вот теперь вдруг оказалось, что это не благо никакое, а мученье.

Вика подняла голову. Она стояла под готической стеной какого-то колледжа, и сверху, со стены, смотрели на нее разномастные каменные лица. Они ехидно смеялись, недовольно кривились, укоризненно морщились, загадочно улыбались... Может, это были лица людей, которые здесь учились? Они были очень живые, но совсем чужие. Из-за их живости Вике казалось, что все они чего-то от нее хотят, а из-за их чуждости она не понимала, чего именно.

«Это и для Витьки так, – подумала она. – И это всегда будет так, для него никогда не станут своими эти люди, эти лица... Или он привыкнет?»

Ответа на этот вопрос она не знала. Может, его и не было, ответа.

В вечернем воздухе раздался звон колокола. Вика попробовала сосчитать, сколько будет ударов, чтобы понять, который час, но после двенадцатого считать перестала – колокол все бил и бил. Наверное, это традиция какая-нибудь, здесь же сплошь традиции... Она отыскала в сумке телефон и посмотрела время – было пять минут десятого.

Можно было уехать в Лондон, автобусы ходили всю ночь. Но лишние расходы на билет... Они с Витькой и так уже заплатили больше необходимого: только на оксфордской автобусной станции Вика выяснила, что, оказывается, можно было ехать из аэропорта прямо сюда, не заезжая в Лондон. По привычке не жалеть об уже сделанном она решила, что в денежном выражении ошибка не велика, зато вокзал Виктория вселил в них с Витькой уверенность – каким-то непонятным, но очевидным образом.

Но возвращаться в Лондон, чтобы там переночевать, она сочла глупым. А в оксфордские отели, наверное, уже не устроиться: начало учебного года, все родители привезли детей. Можно, конечно, поискать, вдруг найдется где-нибудь свободная койка, много ли ей надо. Но понятно ведь, что даже самая неприятная койка стоит здесь и сейчас таких денег, платить которые Вике совсем не хотелось.

Не принцесса, на лавочке посидит. Вряд ли в студенческом городе полиция гоняет людей, сидящих ночами на лавочках, все же здесь молодые – романтика, любовь...

Местечко, где можно было провести ночь, сразу же и обнаружилось. Правда, народ, его облюбовавший, на студентов совсем не походил. Впрочем, кто их тут разберет? Если служащему центрального лондонского вокзала можно находиться на рабочем месте с ярко-алым гребнем на голове, то не исключено, что влюбленным оксфордским студентам можно иметь помятые пропитые лица и слоняться ночью вокруг какого-то островерхого сооружения, похожего на шпиль затонувшего собора.

Подойдя поближе, Вика убедилась, что сооружение является не соборным шпилем, а памятником, и люди, которые вокруг него бродят, хотя и не кажутся грязными, но являются все же стопроцентными бомжами. Разве что не вынужденными, может, а идейными – в живописных хипповатых нарядах, с собаками в плетеных ошейниках.

«Вот с ними до утра и посижу, – решила Вика. – На них внимания не обращают, на меня тем более не обратят».

Она присела на постамент, с горем пополам прочитала надпись на нем. Кого-то здесь в Средние века сожгли, оказывается, им и памятник. Хипповатая собака подошла, обнюхала Викины кроссовки и доброжелательно повиляла хвостом. Бомжи на нее не взглянули, только один спросил о чем-то, но таким тоном, словно она всю жизнь провела в их компании. Говорил он по-английски, да и выглядел тоже очень по-английски – Вика затруднилась бы объяснить, в чем это выражается, но это было для нее очевидно, – однако акцент у него был такой необычный, что она не поняла ни слова, только разобрала, что он назвал ее леди, как будто они встретились на королевском приеме.

Она глупо улыбнулась в ответ и развела руками. Бомж не стал ее ни о чем больше спрашивать и занялся своими делами: уселся на траву, хлебнул пива из темной бутылки и стал трепать собаку по загривку, что-то громко, но незло выкрикивая на своем странном языке.

Вика огляделась. Неподалеку был вход в отель – готическая, ярко освещенная арка со стеклянной дверью, за которой виднелся старинный вестибюль. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что отель очень дорогой. В его стеклянную дверь то и дело входили люди с чемоданами, слышалась русская речь. Конечно, ведь русских студентов теперь много в Оксфорде, и привозят их сюда богатые родители.

Вика сидела, обхватив колени, на постаменте и размышляла обо всем этом без интереса. Не размышляла даже, а просто обводила взглядом площадь, памятник из серого, с глубоко скрытым золотистым отливом камня, отель, построенный из такого же камня... Да здесь и все

почти здания из такого камня, как он называется, интересно, оксфордский, может?.. Стало совсем темно, и вестибюль отеля сверкал теперь за стеклянной дверью тоже как камень, только не серый, а драгоценный.

После только что пережитого отчаяния ее охватила апатия. Непонятно, что вредит человеку больше – то, что истощает его силы, или то, что их парализует. Для Вики, пожалуй, апатия была хуже, и она хотела выйти из нее, но не могла – смотрела перед собой пустыми глазами и не в силах была пошевелиться.

Ее жизнь пришла к самой большой перемене из всех, какие случались до сих пор, и, наверное, из всех, которые могли когда-либо случиться в будущем. Понятно, что она такой перемены не ожидала, просто не могла ожидать. И понятно, что она растерялась. Но понятно также и то, что времени на растерянность ей отведено очень мало, не больше, чем до утра.

– Хоть с бомжами покурю! – услышала Вика. – Нету жизни нормальному человеку в этих европах!

Сказано было по-русски. Вика обернулась и увидела женщину своих примерно лет. Та вышла из отеля и быстро шла к памятнику, на ходу размахивая незажженной сигаретой.

– Сэр, огоньку дадите? – спросила она бомжа с собакой, уже по-английски.

Тот щелкнул зажигалкой, женщина с удовольствием втянула в себя дым и, сев рядом с Викой на постамент, сказала:

– Зажигалки в отеле и той не найдешь. Нормально, да? И муж такой же малахольный стал, как они тут все – здоровье бережет. Как не русский, ей-богу.

Она произнесла все это по-русски без сомнения в том, что Вика ее поймет.

Вика перестала курить, когда забеременела – стало тошнить от одного вида сигаретной пачки. И после родов желание курить не вернулось. Не начинать же было через силу, так и не курила с тех пор.

– Живешь здесь? – спросила ее собеседница.

– Нет.

– А чего тогда? – удивилась она.

Вика ее удивлению как раз не удивилась. Знала, что на даму, ребенок которой может учиться в Оксфорде, она не похожа, на проститутку, промышляющую в Англии, тоже: порода не соответствует ни тому, ни другому. Вот за прислугу из интеллигентных, пожалуй, сошла бы.

– Сына в школу привезла, – ответила Вика.

– А!.. В Дракон?

– Да.

– В пансион, или жить здесь будешь?

– Жить здесь не буду.

– Везет тебе, – вздохнула Викина собеседница. – А меня мой сюда хочет заселить. Типа мать ты или не мать, ребенок гастрит на ихней еде заработает. Насчет жратвы – это да, ноги тут протянешь. И чего теперь? Супчики ему выстрипывать? Пусть тогда дома в школу ходит, будет супчики кушать на завтрак, обед и ужин. Это я мужу так говорю, – уточнила она. – А он мне так: ради меня мать работу бросила, а она, между прочим, профессор была, не то что ты! А я ему: вот и возвращайся к своей кошёлке, она уже тоже профессор, наверно! Это я не про мамашу его, а про бывшую, – пояснила она. – Там детей не получалось, ну, он и развелся, когда я залетела.

От нее пахло только что выпитым вином; этим, наверное, объяснялась ее откровенность. Она затянулась последний раз, бросила тлеющий окурочок под ноги и сказала:

– Вообще, я считаю, это все предрассудки – Оксфорд, Оксфорд! Мне девчонка одна рассказывала, у нее брат в Дрэгон-скул, так у них, говорит, вообще сплошная игра. Чему научатся? Но тут за ними хоть следят. А у меня малец такой, знаешь – через год я с ним по-любому не

справлюсь. На иглу подсядет точно, а оно мне надо? – И, расценив, наверное, Викино молчание как недоверие, пояснила: – Наши же все подсаживаются.

Кого она называет нашими, Вика не поняла. И от непонимания вспыхнул у нее внутри маленький огонек интереса. Она даже удивилась: думала, что отчаяние и тоска затушили в ней этот огонек если не навсегда, то очень надолго.

– Ты сама откуда? – спросила Вика.

– Из Ханты-Мансийска. Мы с мужем год назад в Москву перебрались. А ты?

– Из Пермского края.

– Тебя как зовут?

– Виктория.

– А я Люда. Ты в «Рэндольфе» живешь?

Люда кивнула в сторону отеля.

– Нет. Я завтра уезжаю.

– И чего? – не поняла Люда. – На лавочке будешь ночевать?

– Отель заранее не забронировала, – не вдаваясь в подробности, ответила Вика.

– Так можно же...

– Английского не знаю, – прекращая дальнейшие расспросы, отрезала она. – Объясниться не смогу в отеле.

– Ну ты странная, – покачала головой Люда. – Английского я тоже не знаю, но в «Рэндольфе» же по-русски говорят. Тут наши все тусуются. Депутаты, бизнеса, чиновники – все, короче. Пошли.

Она встала, отряхнула джинсы и приглашающе махнула рукой.

Вика представила, сколько стоит номер в «Рэндольфе», и решила, что не двинется с места даже под угрозой расстрела.

Люда не производила впечатления проницательного человека, но, бросив на Вику догадливый взгляд, сказала:

– Можешь у нас в номере переночевать. Две комнаты, мальчика мы уже сдали – диван свободен.

– Нет.

Вика даже головой помотала для убедительности. Стыд бросился ей в голову так, что в носу защипало.

– Да ладно тебе! – хмыкнула Люда. – Мы с Серегой нормальные. Ликерчику выпьем, я «Айриш крим» купила в самолете. Или виски, если хочешь. Пошли, пошли.

Поколебавшись, Вика все же встала с постамента. Сидеть здесь всю ночь холодно. И тоска подкатывает к горлу. И, главное, не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять, что Люда все равно не отстанет: отзывчивость соединяется в ней с желанием выпить в компании, а вместе эти два чувства – необоримая сила.

Глава 4

Отель оказался таким респектабельным, что, едва войдя в него, Вика сразу пожалела, что поддалась на Людины уговоры. Респектабельность сама по себе ее не смутила бы, но вот то, что она попала во все это старинное дорогое великолепие неправильным образом, – смутило очень.

Но куда теперь деваться? Не бежать же, теряя обувь, как Золушка из дворца. Вика с отстраненным видом прошла мимо портье и двинулась вслед за своей неожиданной спутницей по лестнице вверх.

Но тут же ей пришлось проявить спортивную сноровку, чтобы увернуться от мужчины, спускавшегося навстречу. Он был так пьян, что едва не свалился прямо на Вика – она чудом отпрыгнула в сторону, а он таким же чудом успел ухватиться за перила. Привалившись к ним, он постоял несколько секунд, несвязно матерясь себе под нос, и двинулся дальше. Его лицо показалось Вике знакомым.

Дома она бы и внимания не обратила, что человек направляется ночью на улицу полураздетый и пьяный. Но здесь это показалось ей таким странным, что у нее само собою вырвалось:

– Куда же он в таком состоянии?

– Да он всегда в таком, – хмыкнула Люда. – Привык. Видела по телику, в Думе он какой? Морда вечно красная, как только insult не хватит.

Вика наконец сообразила, что действительно видела этого человека по телевизору.

– Законы, однако же, пишет, – вырвалось у нее.

– Кто ему даст законы писать? – удивилась Люда. – Его дело голосовать как скажут. – И насмешливо поинтересовалась: – А ты что, идейная?

– Что он в Оксфорде делает? – вместо ответа спросила Вика.

– Что и все, – пожала плечами Люда. – У них у всех дети тут. Ну, или в Швейцарии.

«Больше об этом ни слова, – подумала Вика. – Мне нет до всего этого дела. Я не хочу сойти с ума».

Свет в коридоре был неяркий. Золотились деревянные панели на стенах, поскрипывали половицы, и казалось, откуда-нибудь из угла вот-вот раздастся песенка сверчка.

Распахнув дверь в номер, Люда с порога провозгласила:

– Серёнь, я подружку встретила! Она у нас переночует.

Недовольства на лице Серёни не выразилось. Но только потому, что на нем не выразилось вообще ничего – он лишь на секунду поднял глаза от английской газеты. Люде он годился если не в отцы, то в очень старшие братья. Вике хватило одного взгляда на него, чтобы понять: он из тех мужей, про которых посторонние женщины с завистью говорят, что за ними как за каменной стеной. Правда, мало кто из этих посторонних завистниц задумывается, приятно ли жить с каменной стеной. Вика во всяком случае такой дивной женской доли для себя не хотела.

Людин муж поднялся с дивана и, прихватив с собой газету, ушел в спальню.

– Я лучше пойду, – сказала Вика. – Помешала человеку.

– Ничего ты не помешала, – махнула рукой Люда. – Он только рад, что я его тормозить не буду. И все равно в десять вечера всегда ложится. Говорю же, здоровье бережет. Садись – радоваться будем. Вот он, ликерчик! – Она извлекла из открытого чемодана бутылку и посмотрела на нее любовно, как на родственницу. – А вот он, вискарик.

Бутылка виски была встречена таким же ласковым взглядом. Люда поломала, не разворачивая, шоколадку, уселась на стул напротив Вики и сказала:

– Ты интересная.

– Чем? – пожала плечами Вика.

– Я про любого человека сразу могу сказать, кто он и что. А про тебя ничего не скажешь.

– Что же в этом интересного? – улыбнулась Вика.

– Но-виз-на! – отчеканила Люда. – Мне, знаешь, кажется, что я все в жизни уже знаю. Такая это скука, просто жуть! Не понимаю, как академики какие-нибудь живут? Все знать – это ж повесишься.

Такой поворот известной мысли «меньше знаешь – крепче спишь» показался Вике оригинальным. Это было немного удивительно, потому что сама Люда оригинальной ничуть не казалась. Она была очень цельная и в цельности своей понятная с первого же взгляда и с первых же слов.

– Давай выпьем, – сказала Вика. – Промерзла до печенок, если честно.

Не хочется, чтобы Люда начала играть с ней в угадайку, а чем наверняка можно отвлечь ее внимание, долго гадать не приходится.

– Давай! – с готовностью согласилась та.

Ликеры, как и все сладкое, Вика терпеть не могла, поэтому пришлось выпить виски. И неожиданно оказалось, что пьется оно без усилия и горло не обжигает, наверное, потому что сорт какой-то очень хороший; Вика таких бутылок никогда и не видела даже.

В голове, и в руках, и в ногах потеплело одновременно. И в сердце тоже. По крайней мере, стало легче дышать и крик перестал рваться из горла.

– Ну вот, – сказала Люда. – А ты не хотела. Тебе успокоиться надо. Не ты первая, не ты последняя. Англичанцы все норовят подростков с рук сбить. И мы же теперь Европа.

– Ты думаешь? – усмехнулась Вика.

– Я со своим не знаю, что делать, – сказала Люда. – Честно тебе говорю. А они в Драконе этом – знают. Вот и пусть воспитывают. Скажешь, не так? Мальцы только сейчас бузят, а потом нам сами спасибо скажут, что мы их сюда сдали.

– Витька не бузит, – непонятно зачем сказала Вика.

– Значит, умный. Тем более спасибо скажет. Вырастет – будет мировая элита.

Люда произнесла это с такой важностью, что Вика невольно улыбнулась.

– Ты очень странная, – внимательно глядя на нее, сказала Люда. – Ты совсем не наша.

– Да, – не стала спорить Вика. – Совсем не ваша.

Может быть, Люда вкладывала в слова «не наша» не тот смысл, что она. Но в любом случае они были точными, эти слова.

Ощущение абсолютной, неизбывной отдельности от всего, что еще совсем недавно было у нее общим с большим количеством людей, – было таким острым, что острее была только боль от расставания с Витькой.

И когда это стало так? Она не заметила. Она просто поняла это в один непрекрасный день. Вот это – что она «совсем не наша». Это так потрясло ее тогда, что она не знала, что с этим делать. Да и теперь она этого не знает.

– Ну, по второй, – сказала Люда. – А ликер что, совсем не будешь? Тогда я допью, а потом с тобой вискариком догонюсь. Понеслась душа в рай!

И, мгновенно опрокинув в горло вторую порцию виски, Вика почувствовала, что душа ее действительно понеслась. Если не в рай, то к ощущению такой свободы, какой, наверное, никогда уже не будет в ее обыденной жизни.

Глава 5

– Слушай, ну чего ты переживаешь? Они с утра все равно в школе, никто б нас к ним не пустил. А сейчас как раз домой идут. Да не беги ты! – воскликнула Люда.

Она прислонилась к увитой плющом стене, тяжело дыша. Вике пришлось остановиться тоже. Бежать в самом деле было трудно: после неожиданного ночного пьянства сердце колотилось в груди, как в бочке, и даже в неподвижном состоянии, не то что на бегу.

Но Дрэгон-скул была уже в двух шагах, и терять время она не собиралась.

Когда Вика и едва поспевающая за ней Люда добежали до школы, калитка открылась, и на улицу как горох посыпались ученики. Вика углядела Витьку сразу и, забыв про Люду, да вообще обо всем забыв, бросилась к нему.

Она впервые видела его в форме – у них в школе форму только в этом году решили ввести, а прежде все ходили в чем хотели, – и удивилась, как не похож он на других детей, несмотря на одинаковую у всех одежду. Он был самый настоящий Маленький принц, это было первое, что она подумала о своем сыне, когда в роддоме ей принесли его кормить и она увидела, что глаза у него расчерчены светлыми расходящимися лучами и взгляд от этого не по-детски внимательный.

Ни разу за двенадцать Витькиных лет ей не показалось, что она ошиблась. В нем была утонченность, которая не становилась менее очевидной никогда, и даже сейчас, когда он, хохоча, толкался с каким-то долговязым мальчишкой и что-то наперебой с ним орал.

– Вить... – позвала Вика. И, поняв, что произнесла это слишком тихо, повторила, судорожно сглотнув: – Витька!

Он обернулся, вытянул шею, покрутил головой. Он был такой маленький, что она едва не разрыдалась. Хотя ночью выплакала, кажется, все слезы под то и дело опустошаемый стакан и Людины утешения.

– Мам! – закричал он. – Мы до обеда свободны! Джерри разрешил с тобой погулять! Только я переоденусь, о'кей?

И тут же толкнул долговязого, крикнув ему какую-то фразу, в которой Вика не поняла ни единого слова.

Сегодня он не выглядел ни растерянным, ни подавленным, он был полностью погружен в свою новую жизнь, которой вчера еще не было, а сегодня она соткалась из сильных впечатлений, и мелких дел, и стремительного приятельства, и наивных планов, и скучных обязанностей, и веселых желаний... Он отдался этой своей новой жизни с такой мгновенной легкостью, что Вика почувствовала укол ревности.

Но ревновать к тому, что ее сын счастлив, было для нее непредставимо.

Девочки отправились во второй из домов, стоящих напротив школы, а мальчишки вразнобой двинулись к первому.

– Кто такой Джерри? – спросила Вика, идя рядом с сыном.

– Мистер Питт. Миссис Питт – это Мэри, а мистер – Джерри. Которые нас воспитывают. Их надо называть ма и па, – добавил он, бросив на Вику смущенный взгляд.

– Ну и называй, раз надо, – пожала плечами она.

Что значат любые слова, в том числе эти ма и па? Да ничего. И особенно ничего не значат они по сравнению с тем, что ей осталось видеть сына час. Один час. Вот этих слов, их смысла лучше не осознавать совсем.

– Ну что, не съели твоего Витьку драконы?

Люда подошла к Вике и Витьке, крепко держа за плечо веснушчатого пацана, который при этом вертелся и подпрыгивал, пытаясь освободиться от ее руки. Шкодность светилась в его глазах так ослепительно, что Вика поняла, почему все заботы по его воспитанию Люда

мечтает переложить на профессионалов. Правда, понятно было также, что вредность эта такого рода, которую очень легко преобразовать в живой интерес ко всему и вся. Но это Вике было понятно, а Люде – наверняка нет, и темперамент сына наверняка вызывал у нее ужас.

– А мой, прикинь, их по-русски материться учил! – сказала она. – Еще и показывал, что есть что и где находится.

– А как им перевести, если не показывать? – пожал плечами ее сын.

Вот он на принца не был похож нисколько. Только огонек любопытства – впрочем, очень яркий, не случайно же Вика сразу его заметила, – облагораживал незамысловатые черты его лица.

– Молчи давай! – хмыкнула Люда. – Переводчик хренов.

Она предложила пообедать всем вместе, но Вика отказалась. Время было слишком драгоценно, чтобы тратить его на пустые разговоры, даже с хорошими, но все-таки посторонними людьми.

Люда с Максом ушли, а Вика с Витькой перешли улицу, разделяющую школу и дом. На крыльцо прямо перед ними неторопливо поднялся кот, рыжий, как в викторианских романах. И маленькая кошачья дверца внизу двери была такая же, как в книжках, и кот вошел через эту дверцу в дом с таким же важным видом, как в этих прекрасных неторопливых книжках описывалось.

– Ну, иди переодевайся, – проводив кота взглядом, сказала Вика. – Я здесь подожду. Только свитер надень, я тебя прошу. Уеду – тогда и будешь как они.

Английская манера одеваться приводила ее в оторопь. Даже не сама манера, в ней-то не было ничего особенного, а то, что в любой холод все здесь ходили в тоненьких майках без рукавов и точно так же одевали своих детей.

Когда в прошлый приезд, весной, продрогшая от пронизывающего ветра Вика увидела полугодовалого младенца, который сидел в коляске в шортиках и носочках, она не поверила своим глазам. Но и в следующей коляске ребенок был одет точно так же, только уже без носочков – он весело болтал совершенно голыми ножками, не обращая внимания на текущие из носа сопли, на которые и родители его внимания не обращали тоже. После этого она уже не удивлялась тому, как одеваются подростки, вернее, тому, что ранней холодной весной они раздеты, будто жарким летом. Но наблюдать своего сына в таком спартанском виде она все-таки не была готова.

Витька выскочил из дома через пять минут в свитере и даже в куртке.

– Проголодался? – спросила Вика.

– Почти, – секунду подумав, кивнул он.

Ни на один вопрос он не отвечал сразу – всегда ему требовалось хотя бы мгновение для раздумий. Однажды Вика спросила – зачем, и он ответил: «Чтобы было честно».

– Тогда пройдемся, – сказала Вика. – Нагуляешь аппетит.

Витька кивнул, и они медленно пошли по улице к центру.

Вся Викина жизнь прошла в городе, где ни один дом не был старше пятидесяти лет. И теперь ей казалось странным, как быстро здесь, в Оксфорде, ей стало естественным видеть вокруг себя сплошную старину. То есть не быстро это даже произошло, а просто мгновенно – вот она идет по улице между домами, каждому из которых не меньше ста лет, а самому старому пятьсот, и чувствует себя рыбой в воде. Как странно!

Но эта мысль мелькнула у Вики в голове лишь мимолетно. Как она чувствует себя в Оксфорде, не имеет никакого значения. Главное, как чувствует себя Витька.

– Ну как тебе в первый день было? – небрежным тоном спросила она.

Вот что делать, если он ответит: «Мне было плохо, заberi меня отсюда»? Вика не знала.

– Хорошо, – сказал Витька. – Майкл рассказывал про Вселенную.

– Майкл – это кто?

– Учитель. Который меня встречал.

– И что, вы его по имени зовете? – удивилась Вика.

– Так здесь же отчеств нету. – Витька снисходительно улыбнулся маминой недогадливости. – А вообще-то мы его Хан Соло зовем.

– Прямо в лицо?

– Ага. Это же из «Звездных войн», – объяснил он с таким выражением, будто имя героя «Звездных войн» должно было восприниматься учителем как награда. – В школе у всех должны быть прозвища. И учителя тоже люди.

– И что же вам рассказывал про Вселенную ваш Хан Соло?

Вика сочла за благо не вдаваться в дискуссию, люди ли учителя и как их по этому случаю надо называть.

– Он сказал: самая увлекательная часть Вселенной находится у вас между ушами, – сообщил Витька. – Это ваш мозг!

Он потрогал себя за уши, словно проверяя, так ли это. Уши у него были похожи на тонкие раковины жемчужниц. Когда Вика была маленькая, то находила такие на берегу Камы. У нее и у самой были такие уши; сын вообще был на нее похож.

– А какой это был урок? – спросила Вика.

– Я не очень понял. Просто разговор.

«И правда, игра какая-то, а не учеба», – подумала она с тревогой.

Но что в ее тревоге толку? Ничего уже не поделаешь.

Они дошли до входа в крытый рынок, такой же старинный, как и все в этом городе. Из-под его сводов, из многочисленных кафешек, доносился жизнерадостный шум иплыли, смешиваясь, разнообразные вкусные запахи.

– Мам, я есть совсем не хочу, – сказал Витька. – Давай просто так посидим? В школе потом пообедаю.

Вика не стала настаивать. Ей и самой кусок не полез бы сейчас в горло, а Витька тем более взволнован. Она-то лишь о расставании с ним думает, а он – о многом, о многом... О новой своей жизни.

Пошли по улице дальше, миновали рынок, вошли в просторный двор, окруженный большими зданиями, и сели на ступеньки того из них, которое напоминало театр.

– Вить, – сказала Вика, – я ведь долго не смогу к тебе приехать.

– Я знаю.

Голос сына звучал спокойно, но на нее он старательно не смотрел, и ухо-жемчужница стало совсем белым.

– Если ты скажешь, я тебя сразу заберу. Как только ты скажешь.

Он молчал. Вика не знала, какой его ответ сделал бы ее счастливой. То есть счастливой – знала: если бы он сказал: «Забери меня сейчас». Но через сколько недель или месяцев это ее мгновенное счастье полностью съелось бы виной и отчаянием, – на этот вопрос у нее ответа не было.

– Мам, – наконец проговорил Витька, – ты же сама говорила...

– Что? – подождав немного, спросила она.

– Что неосмысленную жизнь не стоит жить...

– ...но и непрожитую жизнь не стоит осмыслять, – улыбнувшись, закончила Вика.

Умный у нее ребенок, что тут скажешь!

– А у меня теперь это – вместе, – сказал ее умный ребенок. – Я буду и жить, и осмыслять.

– Да.

Человек со стороны, может, его слов не понял бы. Но Вике они были понятны совершенно. Слишком долго она внушала себе каждое утро: живи и не думай, не думай ни о чем,

иначе не выживешь... И если даже она, человек взрослый и по натуре не из слабых, чувствовала, что от этого у нее начинает мутиться сознание, то что станет с сознанием ребенка?..

– Мне здесь нравится, мам, – добавил он извиняющимся тоном. – Сразу понравилось. Даже не понимаю почему.

– А весной мне сказал: ничего особенного!

– Ну, я же тогда не знал... А вдруг бы ты передумала меня сюда отдавать? Тогда зачем бы я стал проситься?

– Я постараюсь приехать поскорее, – вздохнула Вика. – А пока, если тебе что-то из дому понадобится, сразу скажи, я через Максову маму передам.

– Макс ничего такой парень, – сказал Витька. – Он хочет, чтобы мы с ним вместе на карате пошли заниматься. Но я больше хочу на волейбол.

– Куда хочешь, туда и иди. Мало ли чего Макс хочет!

– Да ты не волнуйся, – сказал Витька, заметив ее беспокойство. – Здесь же все как хотят, так и делают.

«Вот это вряд ли», – подумала Вика.

Хотя, может быть, сын ее прав, и в школе, в которую она его отдала, за двести лет научились объяснять детям, где проходит граница между желаниями и прихотями, и учат настаивать на первых и отторгать вторые. Но как ей узнать это наверняка? Никак.

– Только я тебя умоляю, одевайся по-человечески, – вздохнула Вика. – Особенно горло! Не хватало ангины заработать или гайморит какой-нибудь.

На форуме русских родителей она начиталась ужасающих историй о том, как учителя и воспитатели не обратили внимания, что ребенок выходит на улицу с мокрой головой, потому что здесь это в порядке вещей, и довели его до больницы.

– Буду! – поспешно кивнул Витька.

Не будет, конечно. С его неспособностью сопротивляться общему настроению – все будут полуголые ходить, а он кутаться? Да ни за что она в это не поверит. Но ничего с этим уже и не сделает...

– Помнишь, мы с тобой на Варвик-сквер сидели, и женщина гуляла в тапках, а собачка в сапогах? – улыбнулся Витька.

Конечно, она это помнила. Это было в первый их приезд – они вернулись из Оксфорда в Лондон, до самолета оставалось время, но не много, только на прогулку в окрестностях вокзала Виктория, они и пошли по первой попавшейся улице и дошли до перекрестка, который назывался Варвик-сквер. Сумерки только начинались, а дождь недавно закончился, и в весеннем маленьком сквере вдруг запел соловей. Он пел совсем рядом с улицей, по которой ехали машины, за цветущим кустом, рядом с которым стояла лавочка. На лавочке сидели две женщины и увлеченно беседовали. На соловьиные рулады они внимания не обращали: то ли были неромантичны, то ли просто привыкли. Они явно жили на этой улице – одна из них вывела погулять собачку породы джек рассел. Она-то и была – бр-р! – в шлепанцах на босу ногу. Женщина, а не собачка, та как раз была обута в щегольские красные сапожки.

Вике казалось, что Витька тогда даже не глянул в их сторону, он был задумчив и почти что мрачен. Он не ожидал того, что произошло в Оксфорде, он думал, что мама просто привезла его посмотреть Англию, давно ведь обещала... А она тогда пребывала в таком смятении, что не обратила бы внимания даже на динозавра в сапогах. Она думала только об одном: вот, получилось. Не должно было получиться то, что она задумала, слишком это было невероятно, однако – получилось, и как-то очень просто, очень обыденно, сама собою пришла удача. Но удача ли это, и, главное, что теперь делать, как решиться и бросить в топку этой неожиданной удачи всю свою жизнь, с таким усилием выстроенную?..

– А помнишь, на дереве возле Темзы тоже сапоги висели? – улыбнувшись, спросила Вика.

– Ага! Только не сапоги, а просто туфли.

Ей хотелось, чтобы Витка перестал сейчас думать о расставании, и она обрадовалась, что удалось отвлечь его внимание на что-то веселое. А на одном из деревьев, которые росли вдоль Темзы, в самом деле были развешаны туфли. Тогда, весной, они дошли до реки – оказалось, это близко от вокзала Виктория, – но что туфли на деревьях означают, так и не поняли и решили, что это просто такое английское чудачество.

Наверное, теперь он в этом разберется. Только уже без нее.

– Мам, перестань плакать, – сказал Витка. – А то я тоже заплачу, и все твои старания пойдут насмарку. Как насмарку пишется, вместе или отдельно?

Он говорил, как мало кто из его ровесников. Ну какой мальчишка скажет «насмарку»? Скоро и он так не скажет – забудет все эти слова, которые она так любила, и как они пишутся, забудет тоже...

– Вместе, – сказала Вика. – И не плачу я, с чего ты взял? Здесь просто ветер невозможный. Прошу тебя, шарф не забывай.

Глава 6

Сказочные слова «куда глаза глядят» всегда приводили Вику в ужас.

Она сразу представляла избушку на курьих ножках, Бабу-ягу и одинокую девицу с посохом, стоящую на опушке темного леса. И хотя еще в юности узнала, что «куда глаза глядят» это просто закрывшаяся у тебя за спиной дверь дома, который не был уютным и не был твоим, но все-таки давал тебе ощущение хоть какой-то защиты, и пустая улица, и город не то чтобы большой и не то чтобы совсем чужой, но такой, который ты должна теперь осваивать самостоятельно, – хотя Вика знала, что «куда глаза глядят» означает не что-нибудь страшное, а всего лишь вялую серединку на половинку, ни рыбу ни мясо, – но рисунок из растрепанной детской книжки про Финиста Ясна Сокола все равно вставал у нее перед глазами при этих словах, произнесенных даже мысленно, и нагонял ужас не меньший, чем в детстве.

Они ей даже снились, эти слова, много лет снились после того, как она закончила школу и стала самостоятельной, и идти куда глаза глядят у нее не было уже необходимости. Въелись они в самые оболочки мозга, наверное.

И, как теперь выяснилось, не зря. А зря она считала, что ей больше никогда не придется пережить этот ужас – никогда не случится ей больше стоять с чемоданом на распутье и думать, куда направиться. То есть не думать, а гадать, потому что никаких зацепок у нее нет и, значит, ничто рациональное на ее поступки не влияет.

Впрочем, нет, рациональное сейчас в ее размышлениях все же имелось: надо было рассчитывать, на каком расстоянии от Москвы ей по силам будет снять квартиру. Именно квартиру – Вика не чувствовала, чтобы жизнь довела ее уже и до необходимости смириться со съемом комнаты.

По ее расчетам получалось около восьмидесяти километров. Все, что ближе, слишком дорого для нее. И даже не лично для нее, а для того чтобы у нее появилась возможность бесперебойно подбрасывать дрова в топку своей удачи.

«Раз дошло до «куда глаза глядят», двинем дальше – к «первому встречному», – подумала Вика.

Первая встреча оказалась такой шумной, что пройти мимо нее было трудно. Вика еще в самолете ее заметила – обратила внимание на ее прическу, укрепленную лаком, как бастион. Теперь эта дама стояла в длинной очереди к окошкам пограничного контроля и громогласно произносила в телефонную трубку:

– Нет, ну что значит «машина сломалась»? А ножками? А на электричке с Новопетровской? Отвык уже? А я, значит, на себе теперь семьдесят пять километров чемоданы должна тащить? Это после ночи в самолете! – И, выслушав, вероятно, какие-то оправдания, сердито воскликнула: – Мозги у тебя жиром заплыли, вот и не сообразил!

Она сердито бросила телефон в сумку. Прическа при этом возмущенно колыхнулась. Вика встала в очередь следом за ней и спросила:

– Извините, а Новопетровская – это что?

Женщина резко обернулась и, смерив ее сердитым взглядом, буркнула:

– А вам какое дело?

– Я к подруге еду, она мне написала, как добраться, а я бумажку потеряла, – спокойным тоном соврала Вика. – Помню, было название Новопетровская, но что это такое, не помню. А тут вдруг от вас слышу. Не подскажете, что это?

– Платформа, – нехотя произнесла женщина.

– Далеко? – тем же ровным тоном поинтересовалась Вика.

– Семьдесят пятый километр по рижскому направлению. А телефона у вашей подруги нету?

– Есть. Но у нее на даче сеть плохая и часто пропадает. Вот, не могу дозвониться. Спасибо, что подсказали. Это с какого вокзала?

– С Рижского, девушка, – со вздохом ответила женщина с прической. – С какого еще вокзала может быть рижское направление?

Взгляд, которым она при этих словах окинула Вику, ясно говорил: и летают же в Англию такие идиотки!

«Ну вот, – мелькнуло в голове у Вики, – не успела подумать, сразу зацепка появилась».

Логика в ее намерении добраться именно до платформы Новопетровская было, прямо сказать, маловато. Правильнее было бы поискать жилье поближе к Домодедово. Ну правда – если тебе все равно, куда податься, то зачем ехать аэроэкспрессом до города, спускаться в метро, еще и пересадки делать?..

Но в том, что происходило с Викторией в последние полгода, было так мало логики, что она не просто привыкла к ее отсутствию, а стала даже чувствовать, когда нелогичность может оказаться благотворной. Она сама не понимала, каким образом чувствует это – физиологическим каким-то, необъяснимым, более старым, может быть, чем ее собственная жизнь.

Вика всю жизнь взвешивала каждый свой поступок на весах здравомыслия, и теперь не перестала, но теперь случалось, что ее охватывала... нет, не бесшабашность, а странная уверенность: вот сейчас, именно в эту минуту и в этом деле, выбор не имеет смысла, а надо просто отдаться на произвол судьбы.

Куда глаза глядят, первый встречный, произвол судьбы... Странные, нежеланные слова вошли в ее душевный обиход! Но что делать, если в сфере слов простых и желанных больше не проживешь? Именно это поняла она полгода назад, и если тогда такое понимание было для нее подобно удару молнии, то теперь она просто вышла из метро на Рижском вокзале и взяла билет до платформы Новопетровская, семьдесят пятый километр.

Платформа оказалась самая обыкновенная. Тропинка в траве, автобусная остановка, площадь перед рынком, разномастные киоски, стоянка такси, тоже разномастных.

Невдалеке виднелись блочные четырехэтажные дома. К ним Вика и направилась.

Хрестоматийные старушки на лавочках у подъездов не сидели – только пьяный, и то не на лавочке, а прямо на траве. Но за домом обнаружилась приземистая женщина лет пятидесяти, одетая в выцветшую болоньевую куртку. Она копалась на небольшом огороде под окнами.

– Здравствуйте! – громко произнесла Вика. – Не подскажете, где здесь квартиру можно снять?

Женщина разогнулась. В руках у нее была только что выдернутая из земли морковь. Она бросила ее в ведро, окинула Вику равнодушным взглядом и спросила:

– На сколько?

– Ну... – Вика не знала, как ответить. Будущее представлялось ей смутным и необозримым. – На год, – наконец нашлась она.

– Тут никто не сдает.

Женщина снова согнулась над морковной грядкой.

Можно было возмутиться: зачем спрашиваешь, на сколько, если все равно не сдаешь?

Но велик ли смысл в таком возмущении?

– А где сдают? – спросила Вика.

Женщина разогнулась снова и ответила:

– В Пречистом найдешь, может. Зять говорил, у него соседка вроде хотела квартиру сдать.

– Далеко это? – деловито поинтересовалась Вика.

– Восемь километров. Сразу за Кучами. Автобус ходит. Дом вот такой же, четыре этажа, от шоссе второй.

Автобус стоял на площади у платформы. Наверное, его расписание было связано с прибытием электрички. Как только Вика вошла и села у окна, он медленно двинулся в длинной пробке, в основном состоящей из груженных фур.

Ей не верилось, что вчера она шла по улице Оксфорда.

Нет никакого Оксфорда. Ничего нет – только вереница плюющихся дымом большегрузов, и пять-шесть панельных домов вдоль шоссе, и редкий лес с желтеющими березами и съеденными жучком сухими елками, и две девчонки лет двадцати, медленно идущие с детскими колясками по обочине, смеющиеся и за разговором безостановочно сплевывающие шелуху от семечек... Призрачность всего, что не имеет отношения к этому миру, была так очевидна, что Вике прошиб холод.

«Но Витька-то не призрак! – одернула она себя. – Ну и нечего тут страхи разводиться».

Второй дом от шоссе в Пречистом действительно выглядел родным братом того, возле которого женщина копала морковь у платформы Новопетровская. Разыскивать зятя той женщины Вика не стала. Зачем, если все равно ни с ней, ни с ним не знакома? Она просто спросила у первого же вышедшего из подъезда мужика, кто здесь хотел сдать квартиру, и через минуту уже звонила в дверь на втором этаже.

Вике почему-то представлялось, что хозяйка будет так же похожа на приземистую женщину с морковкой, как похожи их дома. Но эта оказалась совсем другая – Викина ровесница, с правильными чертами простонародного, но не грубого лица.

– Ну да, собираюсь сдавать, – подтвердила она. – А тебе кто сказал?

– Попутчица в электричке, – ответила Вика.

Практически так оно и было. И тратить время, описывая всю цепочку случайных людей и слов, приведших ее сюда, не имело ни малейшего смысла.

– Вот же ушлый народ! – хмыкнула хозяйка. – Девять дней только вчера было, уже жильцов шлют. А ты сама откуда приехала?

– Из Пермского края.

– Работать?

– Понятно, не гулять, – усмехнулась Вика.

– Совсем не понятно, – в тон ей усмехнулась хозяйка. – Такие, как ты, в Москву на гулянку едут. Она же и работа, правда.

Девка была резкая, но не стервозная. Как себя с ней вести, было понятно.

– Я – работать, – сказала Вика. – Ресницы наращивать.

– Да? – В глазах хозяйки вспыхнул интерес. – А дома почему не наращиваешь?

– Дома желающих мало, – объяснила Вика. – И к тому же я с мужем разошлась, а квартира его, так что и жить теперь негде.

– А дети есть?

В ее голосе послышалось что-то вроде сочувствия, не глубокого, но достаточного для того, чтобы сдать квартиру.

– Сына с матерью оставила.

Необычные сведения о себе Вика сообщать не собиралась. Пользы от них нет наверняка, а вред весьма вероятен. Люди не любят необычное. И это еще мало сказать, не любят.

– Я в принципе не против, – сказала хозяйка. – Думала, правда, после сороковин квартиру сдать. У меня мать умерла, – пояснила она. – Ну там душа, говорят, до сорока дней в доме, или что-то типа того. Но ты не чурка зато. Так что, в принципе, могу и сейчас... Если не боишься.

– Не боюсь.

Это была правда. Вика и вообще была не из пугливых, а с тех пор как у нее родился Витька и она поняла, чего на самом деле следует бояться, страх перед блуждающими душами мог вызвать у нее лишь снисходительную улыбку.

– Пошли тогда, – сказала хозяйка. – Я Лена. А квартира вот эта. – Она кивнула на дверь напротив. – Сейчас ключ возьму. Да, а цена тебя устраивает?

Названная Ленной цена Вика устраивала вполне. Она даже обрадовалась: не ожидала, что в Москве – ну, не в Москве, но в пределах поездки на электричке – найдет жилье за такие деньги. Конечно, после электрички автобус еще... Но все равно приемлемо, даже очень.

Квартира, правда, не понравилась ей совсем. Не потому, что потолки низкие, кухня – вдвоем не разминешься, и обои наклеены, наверное, еще при советской власти. Но вот то, что жизнь старого и больного человека долго тянулась в этих стенах... Войдя, Вика перестала дышать носом.

– Я потому и прошу недорого, – словно оправдываясь, сказала Лена. – Вонизм тот еще, да. Говорю же, думала таджикам сдать.

– Ничего, – сказала Вика. – Обживусь.

– Я тебе зато регистрацию сделаю, – пообещала Лена. – Нужна ведь?

– Нужна, – кивнула Вика.

Регистрация была нужна, и цена подходила, и расстояние. И надо было с самого начала утвердиться в понимании того, что «нравится», «не нравится», и все вариации этих слов не должны больше иметь для нее значения.

– А ресницы мне приклеишь? – спросила Лена. – Интересно! Я ни разу не наращивала. Хотя свои страшные, как вся моя жизнь.

Ресницы у Лены были не страшные, а самые обыкновенные – светлые и недлинные, как у большинства русоволосых женщин, как и у самой Вики.

– Сделаю, – улыбнулась Вика.

– Давай прямо сейчас!

И жизнь у Лены, видно, была не страшная, но очень скучная, потому она и обрадовалась неожиданному развлечению.

– Ладно, – согласилась Вика. – Только глаза твои сфотографирую до и после.

– Зачем? – насторожилась Лена.

– Выложу у себя в блоге – что было, что стало. Люди на картинку реагируют, а мне клиентура нужна.

– А, реклама, – поняла Лена. – Ладно, фоткай. Но тогда бесплатно делай!

Это было уже нахальство – с какой радости бесплатно? Вика всем клиенткам ставила условие, обязательная фотография глаз до и после ее работы, и что в этом особенного? Но спорить с хозяйкой сейчас не хотелось: все-таки ни квартира еще не снята, ни регистрация не оформлена. Мало ли...

– Только давай к тебе пойдем, – сказала Вика. – У тебя скамейка низенькая есть? Ну, детская, или чтобы корову доить.

– Детской нет, а для дойки найду, – хмыкнула Лена. – Мать когда-то корову держала, у нас тут и сарай рядом остался. А зачем низкая скамейка?

– У тебя же стола специального нету. Ты на диван ляжешь, – объяснила Вика. – А мне рядом сидеть надо, и чтобы руки на уровне твоих глаз были. Это же долго, ресницы наращивать, часа два уйдет.

– Два часа! – ахнула Лена. – Я думала, полоски на глаза наклеишь, и все.

– Полоски сто лет назад были. А сейчас к каждой ресничке искусственную приклеивают. От своих не отличишь потом.

– Сдуреть можно, – покачала головой Лена. – Как ты выдержишь? Я вон пазлы, и те не могу собирать. Терпения не хватает.

– У меня хватает, – сказала Вика.

Все складывалось для нее благоприятно. Но каким же безнадежным унынием была эта житейская благоприятность пронизана!

Глава 7

Такое волнение, как сейчас, по дороге к своей первой московской клиентке, Вика чувствовала лишь несколько раз в своей жизни. Когда шла на первый урок, когда входила в кабинет чиновника, который мог дать или не дать ей жилье, когда... Да и все, пожалуй. Когда родился Витька, это не волнение было – совсем другое, непростое.

А то, что происходило с нею сейчас, было как раз очень просто: она впервые должна была сделать работу для более взыскательных людей, чем те, для кого она делала эту работу прежде. И как же ей было не волноваться?

Да еще Москва!.. Не на бегу, не так, чтобы только на самолет успеть, а так, чтобы пройтись и посмотреть, Вика бывала в Москве два раза: в восьмом классе на экскурсии и когда отвозила Витьку в Лондон. И оба раза чувствовала, что Москва на другие города не похожа. Или нет, не так – никакой город на другие города не похож, это естественно, но именно в Москве есть что-то пугающее и понятное одновременно. Вот это соединение чужого с совершенно понятным и показалось ей тогда необычным, и сейчас тоже.

Она даже специально приехала из Пречистого самой ранней электричкой, чтобы привыкнуть к этому ощущению.

И оказалось, правильно сделала. Только не из-за дивных московских впечатлений, а по самой простой причине: через пятнадцать минут после того, как вышла из метро на Арбатской площади, Вика поняла, что заблудилась. Заблудилась, как дурочка, в переулочках.

Переулочки эти кружили и вились без всякого плана и смысла, их было так много и такие они были короткие, что Вика перестала понимать, где заканчивается Большой Афанасьевский и начинается Малый, почему только что был Малый Каковинский, а вот он уже сделался Трубниковский, и как ей выбраться из этой вязи, чтобы попасть на Малую Молчановку к Дому со львами.

А может, дело было еще и в удивлении, почти тревоге. Почему именно этот дом, особенный для нее, оказался первым, в который ей предстоит войти в Москве?

В конце концов Вика рассердилась на себя за отвлекающие мысли, включила навигатор в айфоне, и вязь переулочков распуталась мгновенно, и Дом нашелся.

Она долго стояла у калитки, глядя на львов у крыльца, и сердце у нее билось так, будто она увидела родного человека. Это было удивительно; Вика никогда не считала себя сентиментальной. Впрочем, и сейчас слезы умиления не стояли у нее в горле. Что-то другое она чувствовала, но что, не знала.

Наконец она сбросила с себя это странное оцепенение и позвонила.

В таком доме Вика не бывала ни разу в жизни. Это был особенный мир, он сообщал о своей отдельности в ту же минуту, как только приоткрывал перед посторонним свои двери.

Она думала об этом все время, пока поднималась на шестой этаж в бесшумном, похожем на металлическую капсулу лифте. Это не была только лишь отдельность богатства, вот что Вика понимала смутно, но верно. За всем этим зримым богатством – просторным вестибюлем, и лепниной на высоких потолках, и цветами на лестничных площадках – было что-то еще, незримое, название чего она не знала, но существование чувствовала.

Дверь квартиры на шестом этаже была уже открыта. На пороге стояла женщина в красном шелковом кимоно с золотыми драконами. Внешность у нее была такая, какую Вика не ожидала здесь увидеть. Слишком уж нехитрым был облик этой женщины, ничто в нем не напоминало ни Дом со львами, ни Москву вообще. Или Вика просто неверно себе Москву представляла?

– Ну что ты так долго? – не здороваясь, нетерпеливо проговорила та. – Я же сказала, у меня время ограничено.

– Я не опоздала, – пожала плечами Вика. – Здравствуйте.

– Проходи, проходи.

Возражений эта женщина явно не терпела, но, кажется, настолько не понимала, как можно ей возражать, что даже не замечала их.

Квартира удивила не меньше, чем хозяйка. Комната, в которую они вошли – огромная, с арочным окном, за которым виднелся балкон, – напоминала зубоврачебный кабинет из-за белых стен и нежилого духа. То есть пахло-то здесь обычным цитрусовым экстрактом. На низком журнальном столике, стоящем перед белым кожаным диваном, Вика увидела хрустальный флакон с жидкостью лимонного цвета и торчащими, как стебли без цветов, деревянными палочками; все это и благоухало странно и приятно. Но дух, именно дух был нежилой, как и белые стены, и белая же мебель самых простых, ничем не оживленных линий.

– Ресницы сделай очень длинные и изогнутые, – сказала хозяйка, проходя в первую от прихожей комнату.

Ей было около пятидесяти, лицо у нее было широкое и чуть приплюснутое, не среднеазиатское, но и не европейское. Ну да, Люда же говорила, что эта Антонина с Севера, как и она, с Таймыра, что ли, не то с Ямала. Знак причудливо смешанной крови – в широких скулах, в узковатых, необычной формы глазах.

– Вам очень длинные и тем более изогнутые не пойдут, Антонина, – сказала Вика. – А вот прямые к лицу будут.

– Нет, – покачала головой та. – Я хочу изогнутые и длинные. И чтоб на концах вот так, знаешь, вверх и вбок. Как у Волочковой.

Что тут скажешь? И зачем, собственно, что-либо говорить человеку, который в пятьдесят лет хочет иметь ресницы, как у попсовой дивы?

– У нее ресницы кукольные, – все-таки не удержалась Вика. – И выглядят неестественно, сразу видно, что не свои.

– Ничего. Мне такие же сделай.

Пока Вика раскладывала на столе палетку с ресницами и инструменты, Антонина улеглась на диван. Вика подложила ей под голову кожаную подушечку, а на нижние веки – коллагеновые патчи.

– А правда, что вот эти штуки, которые ты под глаза кладешь, морщины уберут? – поинтересовалась она.

– Разгладят слегка.

– А свои ресницы не вылезут?

– Нет.

– А красить их точно не надо будет?

– Точно.

Вика отвечала на все эти вопросы ровно столько раз, сколько у нее было клиентов. Не слишком много вообще-то.

– Я все равно краситься буду, – сообщила Антонина. – Не могу без этого, как голая себя чувствую. И тени люблю голубые, яркие. Мне подружка говорит: Тоня, с голубыми тенями, тем более в нашем возрасте, сейчас никто уже не ходит. А я не могу. И чего я, скажи, должна себя насиловать? У нее дочка за француза замуж вышла, живут под Парижем, я забыла, как этот пригород называется, так у них там...

– Вы только не шевелитесь, – попросила Вика. – У меня же пинцеты в руках. И клей.

Она уже смыла с ресниц остатки туши и расчесала их специальной расческой.

– Не буду, – пообещала Антонина. – Но я если молча, то усну вообще, мне лучше разговаривать. Так вот, говорю, под Парижем дочка у Ольки живет, пригород дорогой, никаких арабов или там кого, французы только, и те графья, как в кино про Анжелику и короля, помнишь, было такое, ну, ты не помнишь, молодая, и у Олькиной дочки муж тоже граф...

Она действительно лежала неподвижно, как мумия, и приклеивать одну за другой ресницы не мешала. Но речь ее лилась так, что через пару минут Вике пришлось следить уже за собой, не уснуть бы под это мерное журчание. Одно было хорошо: не приходилось ничего говорить самой, как это бывало с клиентками, желавшими за свои деньги не только получить красивые ресницы, но и вволю поболтать.

– И вот у них в поселке этом, представляешь, косметикой вообще не пользуются. Не то что запрещено, а не принято, считается неприлично. Ольга там просто извелась за месяц, она с внуком приезжала сидеть и говорит, честное слово, извелась. В булочную утром пошла, у них же принято каждое утро свежее покупать, пирожные там, круассаны, десерт, они там не обедают без десерта, и вот она пошла в булочную и, конечно, подкрасилась, а она не так, как я, голубые тени и сама не накрасит или там ресницы удлинняющей тушью, это нет, но все равно, дочка ей потом такое говорит: ты, мам, больше, я тебя, пожалуйста, прошу, косметикой вообще не пользуйся, тем более днем, а то все будут говорить, что это за проститутка к нашей Мари приехала. Вот ты скажи, можно так жить? Невозможно, я считаю. И тарелки у них там запрещены, ну, антенны спутниковые, потому что портят архитектуру, на балконах можно только цветы, и то не всякие...

«В конце концов, я ведь не знаю, как живут в аристократических пригородах Парижа, – подумала Вика. – Так что это даже интересно послушать».

– Ты в приворот веришь? – неожиданно спросила Антонина.

Вика удивилась бы такому повороту разговора, но удивляться, держа пинцетом микроскопическую ресницу, было неудобно.

– Нет, – окунув ресничку в клей, ровным тоном ответила она.

– А я верю. У нас все верят, и не зря, я считаю.

Вика приклеила очередную искусственную ресницу к Антонининой. «У нас» – это было ей теперь понятно. Даже странно, почему она не сразу сообразила, что ничего московского в этой женщине нет и помину. И одежда лежит и висит в ее квартире где попало – на креслах, на спинке стула, на дверной ручке и даже на полу, как в гостиничном номере, в который вселились два часа назад.

– Отец мой всегда дробины и картечи из убитого зверя доставал и в новые заряды потом по одной клал, а потому что такой заряд никогда мимо не пролетит, и так оно и есть, ни разу не подводило, и с приворотом то же самое, это же народная мудрость, вот у меня подруга, не Ольга, другая, пошла к ведьмачке, чтобы она ее мужа от любовницы отворожила и к ней обратно приворожила, и она так и сделала, ведьмачка, про любовницу он думать забыл, только всё к Нинке, к жене, и ни на шаг не отходит, но стал страшно ревнивый, просто за каждым шагом стал следить, в молодости и то такого не было, Нинка даже жаловалась нам, а потом совсем он ее приревновал и убил, вот как бывает, и как после этого в приворот не верить?..

«И охотничьих примет я тоже не знаю, и тем более про привороты, – подумала Вика. – Так что и это интересно».

Если смотреть отвлеченно, то все это, может, и было интересно, но чтобы считать эти сведения интересными лично для себя, Вике требовалось усилие. Впрочем, не самое большое это было усилие из тех, которые ей приходилось совершать над собою.

– И я, если честно, лучше бы тоже к той ведьмачке обращалась, чем к обычным экстрасенсам, но где ее теперь найдешь, – сказала Антонина.

– А обязательно к кому-нибудь обращаться? – не удержалась Вика.

– Конечно. – У Антонины не дрогнул ни один мускул на лице, и только по интонации можно было понять, что она удивилась странному вопросу. – У всех же экстрасенсы. И астрологи обязательно, без астрологов люди шагу не делают, и правильно, я считаю, что-то такое есть точно, я когда финансовый год закрываю, то всегда со своей астрологиней советуюсь, и как звезды встанут, так всегда и сходитесь.

Финансовый год – удивительно. Вика была уверена, что никакого самостоятельного занятия эта женщина иметь не может – ездит вслед за богатым мужем в Москву и обратно и, как Люда, проводит основную часть времени в разговорах с подругами. А вот поди ж ты.

– В Москве тоже все так, думаешь, у нас только? – сказала Антонина. – От Москвы и пошло, вообще, гороскопы и прочее, плюс у нас шаманы, конечно, это тоже накладывает отпечаток, и здесь шаманы в моду вошли, это от нас, в Москве много наших, потому что у нас же нефть, газ.

К тому моменту, когда наклеена была последняя ресница и Антонина села на диване, крутя головой, Вика чувствовала, что у самой у нее в голове гудит, как в пустой бочке.

– Красота! – сказала Антонина, глядя на себя в зеркало пудреницы, которую извлекла из сумки. – А ты говорила, изогнутые не надо. На десять лет помолодела. Еще гиалуронку уколою – как новенькая буду.

– Надолго вы в Москву? – спросила Вика, вставая с журнального столика, на котором сидела во время работы.

И прикусила язык: зачем ей это знать? Понадобятся новые ресницы, Антонина наверняка ей позвонит, вон как собою любит, понравилось, значит. А подробности – откуда приехала, надолго ли – интересоваться ей не должны, да и не интересуют.

– Послезавтра сразу после совещания уеду, – ответила Антонина. – Гиалуронку – завтра. Вообще, конечно, надо уже все сделать, ну, губы поддуть, нос выпрямить, но времени нет. Нос – это в Швейцарию ехать, а когда мне? У меня же не работа, а дурдом. Хотя в Липецке есть один хирург, так вот он, говорят, носы делает – швейцарцам не снилось. Сама не видела еще, но верю, мы вообще лучше, нечего перед Западом приbedняться. Я, может, к нему и поеду. Но все равно нужно время на это выделить, это же восстанавливаться сколько, недели три, если не больше, придется отпуск брать. Сколько с меня? – спросила она.

Все-таки правильно Люда предупредила, чтобы Вика забыла те цифры, которые называла своим, как она сказала, деревенским землячкам. Назвала бы Антонине цену, которую считала самой высокой из допустимых, та, пожалуй, засомневалась бы, заслуживает ли такая мастерица доверия. А так – вынула из кошелька оранжевую купюру и отдала без тени удивления со словами:

– Я твой телефон всем даю, да?

Вика кивнула. При этом она изо всех сил постаралась, чтобы вид у нее был самый невозмутимый и не вырвался бы какой-нибудь торжествующий выкрик.

– Давай кофе выпьем, – сказала Антонина. – У меня сегодня релакс, даже телефон выключила, иначе не дадут расслабиться. Перышки чищу, вообще отдыхаю. Ты какой пьешь, обычный или зеленый?

– Зеленый кофе? – удивилась Вика.

– Ну да, для похудения. Хотя тебе ни к чему.

Антонина окинула ее быстрым взглядом. В нем не было зависти – скорее всего, просто потому, что двадцатилетняя разница в возрасте позволяла ей уже не сравнивать Викину фигуру со своей.

– Пойдем в кухню, заварим, – сказала она.

Релакс релаксом, а варить и подавать кофе непонятно кому, практически прислуге, – этого Антонина не могла себе позволить. Вика поняла это так ясно, как если бы та произнесла это вслух. Властность и сознание своего превосходства въелись в эту женщину, как в шахтеров въедается угольная пыль.

Кофе пить Вике не хотелось. То есть хотелось, но где-нибудь в маленьком кафе, сидя в одиночестве за столиком у окна, глядя на тревожную и привлекательную, подчиненную непонятному порядку жизнь старого московского переулка... Она видела по дороге сюда французскую кондитерскую, и хотя забыла, где именно, но можно ведь найти.

– Пойдемте, – сказала Вика.

Кухня выглядела такой же нежилой, как и комната с арочным окном, и другие две комнаты, в открытые двери которых она мельком заглянула, идя по коридору. Вика никогда не видела, чтобы от жилья – дорого отремонтированного, отделанного и меблированного – веяло такой безликой нежилой. Даже квартира в Пречистом, в которой она три дня без отдыха обдирала старые и клеила новые обои, отдраивала туалет и кухню, – даже то убогое жилище не производило на нее такого гнетущего впечатления. В чем тут дело, Вика не понимала. Все по отдельности – белая мебель с золотистыми узорами, белые шторы на окнах, паркетные, тоже белые полы, – не вызывало отторжения, наоборот, свидетельствовало о хорошем вкусе того, кто все это подбирал и собирал. А вот общее, неуловимое, но ощутимое целое... Вика поежилась.

Посередине кухни стоял набитый магазинный пакет, из которого торчал ананасовый хвост.

– От ананасов тоже худеют, – сообщила Антонина. – Меня от них тошнит уже. Держусь-держусь, а потом картошки жареной ка-ак наемся! Но сейчас не буду. Разбери сумку, – сказала она. – Там кофе должен быть, поищи.

Кофе нашелся сразу, молотый обжаренный и в зернах зеленый. Пока Вика разбирала какие-то диковинные пастилки, про которые Антонина сказала, что это низкокалорийные конфеты, и твердый итальянский сыр, и мягкий французский, и испанский хамон, – Антонина неторопливо молола для себя зеленые зерна в ручной кофейной меленке и не переставая говорила:

– Ананасы мне по крови подходят. Диета по анализу крови, знаешь? Мне, оказалось, из фруктов подходят только ананасы. Включи чайник. Нет, из крана не наливай, там бутилированная должна быть, я заказывала. Отец у меня был манси, мать русская, сибирячка. Как мне по крови могут подходить ананасы? А морковь самая обыкновенная – категорически нет. Вот как такое может быть, объясни?

Она не болтала – не было в ее интонациях ни тени той вдохновенности, которая заставляет женщин вести бесконечные увлеченные разговоры, – а вот именно говорила, ровно и монотонно, будто и теперь лежала неподвижно, как мумия, и ей разрешено было только шевелить губами.

– Кровь – загадочная вещь, – сказала Вика. – Мы даже не представляем, откуда она в нас.

Что еще можно ответить, если тебя спрашивают, как то или другое может или не может быть в жизни? Только абсолютную банальность.

Антонина посмотрела на нее с уважением. Вика этому совсем не удивилась: она уже поняла, что ее первая московская клиентка относится к тому типу людей, которые способны воспринимать только общеизвестное. Да и оно является для них открытием. Кем она работает все-таки? Невозможно было соотнести эту въевшуюся в ее натуру властность с так же плотно въевшейся в ее мозг заурядностью.

– Это да, – кивнула Антонина. – Я вот считаю, пары надо по крови подбирать. Ну, или по генетике, это одно и то же. Чтобы дети рождались качественные.

– Так в Германии делали, – сказала Вика. – При Гитлере.

– Да? – удивилась Антонина. – И правильно. Вообще, я считаю, в истории многое пора пересмотреть. При Гитлере у немцев настоящий порядок был, дороги хорошие строили. Немецкие земли он объединял. И нельзя все черной краской мазать, надо видеть хорошее и брать пример. Если б он на нас войной не пошел, вообще другое к нему было бы отношение. У нас его бы оценили.

Вика молчала. Не потому даже, что Антонина выгодная клиентка, за которой потянется цепочка таких же выгодных, а просто потому, что объяснять ей что-либо бессмысленно.

Когда Вика слышала подобное впервые, возмущение рвалось из нее, как лава из вулкана, она задыхалась от невозможности высказать все доводы одновременно, их миллион у нее был,

доводов... Но когда это повторилось два раза, и три, и пять, она поняла, что все ее доводы, хоть одновременно, хоть поочередно, не имеют ни малейшего значения. Что возразишь человеку, который уверен, что при Гитлере был настоящий порядок? Строили дороги, присоединяли земли и зачинали качественных детей, а что кого-то там убили, так наверняка те сами были виноваты. При Сталине вон тоже расстреливали врагов народа, и правильно делали, и...

Все! Все... Она не хочет сойти с ума. Она не может себе этого позволить.

Щелкнул вскипевший чайник. Вика насыпала в свою чашку молотый кофе и залила его кипятком. Руки у нее слегка дрожали, но все же не так, чтобы это можно было заметить.

Способность Антонины мгновенно переходить к совершенно другой теме оказалась на этот раз благоприятной.

– Завтра дочка моя прилетает, – сказала та. – Маринка. Сможешь завтра прийти? Ей тоже ресницы нарастишь.

– Смогу, – кивнула Вика.

– Только не в эту квартиру, а на четвертом этаже. Я ей там купила. Тут вообще приличный дом. Как положено отреставрировали, и снаружи, и внутри сохранили, а не то чтобы все сломать, один фасад оставить, знаем, как они делают. Квартир тут мало, всё по уму. Наверху зимние сады, я хожу – красиво. Я сначала хотела в новом каком-нибудь доме квартиры всем купить, и дочке, и сыну, а потом решила тут. Цена та же, а все-таки история. Это тоже капитал, я считаю.

– А кто здесь раньше жил? – спросила Вика.

Не надо было спрашивать, конечно. Зачем продлевать время общения, которое из утомительного превратилось в невыносимое?

– Понятия не имею, – пожала плечами Антонина. – Квартира чистая, без обременения, все проверено. А кто там и что там раньше – откуда мне знать? Коммуналка была, наверное. Центр же, тут везде одни коммуналки были.

Вика хотела сказать, что дома на Малой Молчановке построены еще до революции, и этот тоже, значит, квартира не всегда была коммунальной. Но говорить этого, конечно, не стала. Как бы Антонина ни оценивала капитал истории, но что она может знать о Малой Молчановке? Да и Вике самой какое дело до прошлого этого унылого в своей дороговизне жилья? Никакого.

Но и когда ждала она лифта, и когда спускалась с крыльца между двумя львами – что у них на щитах написано, интересно? – не отпускал ее этот непонятный Дом.

Вика закинула голову. Арочное окно на шестом этаже сверкало под прямыми солнечными лучами и тоже было похоже на щит – зеркальный. Ей вдруг показалось, что именно оно, окно это, глухим щитом закрывает жизнь, которая была в этом доме совсем другою.

Странная это была фантазия. Но долго еще Вика стояла, глядя вверх на полукруглое окно, и чувствовала необъяснимую тревогу.

Глава 8

«Не удался мой побег. Давно, усталый раб... Глупости! Никакой я не раб. Но побег – не удался».

Непонятно, почему именно эта мысль пришла Полине в голову и почему именно в ту минуту, когда она подошла к дому на Малой Молчановке и закинула голову, оглядывая его фасад.

Фасад красивый, ничего не скажешь. Гармоничный. Особенно полукруглое центральное окно на предпоследнем этаже.

«Пусть моя комната будет за этим окном, – загадала Полина. – Тогда – удача».

У крыльца стоял грузовик, и четверо рабочих сгружали с него двух огромных каменных львов. Нет, не каменных, бетонных, поняла Полина, подойдя поближе и приглядевшись. Ну да, ей же и сказали, выдавая ордер на комнату: это на Малой Молчановке, Дом со львами, только львов сейчас нету, их в войну от бомбежек убрали.

– А щиты куда подевались? У них щиты были.

Высокая женщина лет сорока в выцветшем ситцевом платье наблюдала за разгрузкой. Она и спросила про щиты, которых в лапах у львов действительно не было.

– Идите, куда шли, гражданка, – сказал милиционер.

Он тоже наблюдал за тем, как львов снимают с грузовика, но делал это по долгу службы, а не из праздного любопытства.

– Так я сюда и шла! – тут же возмутилась она. – Живу я здесь. Домой уже пройти нельзя!

Милиционер, видно, был опытный: окинув гражданку быстрым взглядом, спорить с ней не стал, а покладисто ответил:

– Проходите в подъезд, вас никто не задерживает.

Полина поднялась на крыльцо вслед за нею.

– Щиты сперли точно, – бросила гражданка, открывая входную дверь.

– Ну кому могли понадобиться бетонные щиты, Шура?

Другая женщина как раз выходила в этот момент из подъезда. То есть не женщина, а девушка моложе Полины. По привычке мгновенно схватывать и оценивать внешность даже первого встречного, Полина сразу поняла: лицо ее не назовешь красивым, но что-то в ее облике есть такое, что притягивает взгляд и от чего язык прирастает к нёбу.

Впрочем, Шура язык к нёбу прирасти явно не мог.

– Ты, Серафима, не говори, чего не понимаешь, – отрезала она. – Я их знаю – им надо, не надо, а только от чего отвернешься, то сейчас и сопрут. И щиты сперли.

Девушка не ответила – спустилась с крыльца и пошла по улице. Полина посмотрела ей вслед. Показалось, она смотрит на можжевельовый куст, но не тот, что растет сам собою, а тот, что спустился на землю с дальнего края картины да Винчи.

Даже Шура проводила взглядом эту Серафиму.

– Блаженная, – заключила она, когда та скрылась за углом. И поторопила Полину: – Вы, женщина, заходите или нет?

Квартира, в которую Полине был выписан ордер, оказалась на шестом этаже. Потолки в этом доме были просто заоблачные, а лестничные пролеты бесконечные. Если бы Полина не натренировалась, поднимаясь ежедневно в свою берлинскую квартиру, то сейчас у нее блестящие мушки перед глазами плясали бы, а так – ничего, долетела как птичка.

Все время, пока поднимались, Шура шла за нею шаг в шаг, монотонно приговаривая:

– На тот свет они нас хотят отправить, а сами тогда жилье наше займут, комнаты своим раздадут...

Точку в своем монологе она поставила, когда они с Полиной остановились у двери двадцать третьей квартиры.

– Уже раздали, – припечатала Шура. – Вы, гражданочка, никак вселяться пришли?

– Да, – с улыбкой подтвердила Полина. – Соседями будем.

– И лезут, и лезут... Будто без них соседей мало! – обращаясь не к Полине, а к пространству, возгласила та.

Но на возмущение таких, как Шура, внимания Полина никогда не обращала. Да вообще-то и ни на чье возмущение она не обращала внимания. Русская пословица «На всякий чих не наздравствуешься» казалась ей правильным руководством не только к жизненным, но и к простым житейским действиям. Она достала из сумочки ключ с привязанной к нему бумажкой, на которой химическим карандашом был написан номер квартиры, и открыла дверь. Шура, тоже расстегнувшая сумку, застыла со своим ключом в руке.

«Что ж, жилье как жилье, – подумала Полина, проходя из прихожей в длинный коридор. – И соседи как соседи. Испорченные квартирным вопросом. Интересно, милосердие стучится в их сердца?»

Роман Михаила Афанасьевича, так, конечно, и не изданный, но услышанный ею, когда он читал его для избранного круга, поразил Полину так сильно, что и спустя много лет фразы из него вспоминались по самым разным поводам.

И – да, удача ее не оставит! Отперев свою комнату, единственную, на двери которой висела сургучная печать, так что перепутать было невозможно, Полина увидела прямо перед собою высокое арочное окно, на которое десять минут назад смотрела с улицы.

Что-нибудь это да значило. Полина прошла в комнату, чихнула от тяжелого, настоявшегося пылью воздуха и дернула за оконные створки. Затрещала замазка, створки распахнулись, и в комнату ворвался сырой, пахнувший мокрым асфальтом и листьями осенний воздух.

«Я в Москве, – подумала Полина. – Это окончательно. И я одна. А вот это не окончательно. Будет мне удача в этой комнате!»

Дверь скрипнула, комнату пронизало сквозняком.

«С соседями еще работать и работать, – подумала Полина. – Стучаться здесь, видно, не принято».

Она думала, что пришла Шура – выразить какое-нибудь недовольство, чтобы сразу обозначить отношения с новой соседкой. Но в дверях стояла девчонка то ли шестнадцати, то ли двадцати лет. Да и двадцать пять могло ей быть; возраст ее определить было невозможно. Полина всегда считала, что человеческие лица меняет не столько возраст, сколько разум. А он в выстраивании лица этой девчонки явно не участвовал.

Зато у нее были необыкновенные глаза – круглые, но, главное, беспримесного желтого цвета. Полина таких никогда в жизни не видела.

– Здравсьте, – сказала девчонка. – Вас как зовут?

Обращается к незнакомому человеку на «вы» – уже неплохо. Глядишь, и стучаться в чужую комнату научится.

– Полина Андреевна Самарина, – представилась она. – А вас?

Девчонке сошло бы и «ты», ей это наверняка и понятнее было бы, да и представляться по имени-отчеству Полина не привыкла. Но в воспитательных целях...

– Таисья. Петрова.

Когда-то Полина увлеченно читала книжки о происхождении фамилий в разных странах. Это ей потом оказалось полезно – понимать, откуда родом человек, с которым приходится иметь дело. Сам-то человек мог, конечно, родиться где угодно, этого по фамилии не определишь или, во всяком случае, определишь не всегда, но род его – дело тоже существенное, даже если он ничего о своих предках не знает. Загадочное дело кровь, это Михаил Афанасьевич тоже не зря заметил в своем романе.

Ну и что в прошлом, в длинной цепочке предков у этой желтоглазой простолицей девчонки? Ничего. Петр, сын Петров. Или Иван, или Яков – Петровы дети. Летом праздновал их отец именины, вся семья в этот день разговлялась после Петровского поста, сыновья напивались браги до одури и дрались всласть, а чуть свет опять шли работать в поле.

«И к чему вот лезут в голову всякие глупости?» – одернула себя Полина.

Впрочем, ей всегда бывали интересны отвлеченности. В меру, конечно.

– Вы по каким дням уборную будете мыть? – спросила Таисья. – Я список составляю.

Такой вопрос привел Полину в замешательство. Правда, ровно на пять секунд.

– Скажу, как только найду домработницу, – ответила она.

– Мне сейчас надо, – помотала головой Таисья. – Говорю же, список составляю. Сегодня вывешу.

– Значит, поставь меня последней в списке. Сколько в квартире семей?

– Семь.

– Вот восьмой и поставь.

За неделю надо устроить свою жизнь. То есть не жизнь, а просто быт, но и с устройством быта тоже тянуть нечего.

– Всё? – спросила Полина.

– Ага, – кивнула Таисья и сообщила: – Старшая по квартире – Шура Сипягина. Которую вы видели уже. Если какой вопрос серьезный – к ней. А по мелочам и ко мне можно.

– Тая, ты учишься или работаешь?

Воспитывать девчонку выканьем Полине надоело.

– В пельменной работаю. Посудомойкой.

– Домработницей ко мне пойдешь? У меня жизнь напряженная, Таечка, мне с хозяйством справляться будет трудно, да и некогда. А ты справишься.

Полина не сомневалась, что Тая согласится. С ней вообще мало кто не соглашался. А если у девчонки и руки такие же ухватистые, как взгляд, то бытовые дела можно считать улаженными.

– Платить сколько будете? – быстро спросила Тая.

– Больше, чем в пельменной.

– Ладно, – кивнула она. – Только вы меня оформите, как положено, а то милиция кишки начнет мотать, тунеядка, мол.

– Не волнуйся, – улыбнулась Полина. – Комар носа не подточит.

– Ну как оформите, я тогда из пельменной и уволюсь, – заключила Тая. – Говорите, если что надо. Моя дверь по коридору последняя. Кладовка.

Тая ушла. Полина присела на стул и обвела комнату взглядом. Не очень пока понятно, как устраивать новую свою жизнь, но здешнее пространство подходит для чего-то нового, она чувствует такие вещи. Только мебель надо будет выбросить – тягостью от нее веет, это она чувствует тоже. Да и не трудно понять почему, и не нужна для этого какая-то особенная чувствительность. Полина сама же сорвала печать с двери; ясно, куда скорее всего подевались хозяева опечатанной комнаты.

Некоторое время ей казалось, что она сидит в полной тишине. И только потом, страхнув с себя оцепенение – с подготовкой к новой жизни, с предвосхищением ее оно было связано, – Полина сообразила, что никакой тишины здесь нет и не предвидится.

Закончился рабочий день, и за стеной стоял такой шум, будто там был не коридор, а оживленная городская улица. Один мужчина сморкался, другой кого-то звал сердито и громко, женский голос что-то выговаривал на ходу, а детский сердито возражал, потом раздался быстрый грохот, будто колеса проехали, и Полина вспомнила, что у одной из дверей висел на стене самокат – на нем кто-то и прокатился теперь, наверное. Потянуло запахом щей и прогорклого

масла, и почему-то с улицы. А, видно, не только у нее в комнате, но и в кухне открыто окно, и кто-нибудь взялся разогревать еду.

«Жилище, что и говорить, могло быть получше, – подумала Полина. – Но могло и похуже, даже сильно похуже, – философски заключила она. – Так что жалеть не стоит точно. А пора его обследовать».

Выйдя из комнаты в коридор и отправившись на поиски уборной, она с ностальгическим чувством вспомнила туалетную комнату в берлинской квартире – карамельного цвета кафель с тонко, как на фарфоровом сервизе, прорисованными розами, массивную ванну на бронзовых львиных лапах и ароматические соли, которые хозяйка пансиона всегда выставляла для жильцов на плетеной из лозы этажерке, не забывая пополнять их запас во флаконах.

А кстати, эта московская квартира очень на ту берлинскую похожа. Ну конечно! И потолки такие же высокие, и такая же на них лепнина... Только здесь все обветшало, потрескалось и потускнело, а там сверкает чистотой и постоянной обновленностью.

Не сверкает, а сверкало. Нет больше того дома на Кудамм. Единственная от него уцелевшая обгорелая стена смотрит на улицу черными дырами бывших окон.

Как глупо! Ладно еще, когда человек разрушает чужую жизнь, это хоть чем-то можно объяснить – жадностью, подлостью, завистью, наконец. Но как не иметь ума настолько, чтобы не понимать, какие именно твои поступки, следуя друг за другом в неотменимом порядке, совершенно точно разрушат жизнь твою же собственную? И как это вышло, что подобную глупость проявил не один человек, не десять и не тысяча, а миллионы людей, да еще таких рассудительных, как немцы?

Полина и теперь, спустя почти десять лет, не понимала того массового недомыслия так же, как не понимала его в тридцать восьмом году, когда приехала из Парижа в Берлин. Даже ей, иностранке, тогда в течение одной недели стало ясно, к чему здесь дело идет и чем закончится. Так оно и вышло. А миллионам местных граждан ничего ясно не было. Они ликовали, рыдали от счастья жить в такой замечательной стране и гордились, гордились собой бесконечно! Странно, странно.

Но что же – та часть ее жизни окончена, и незачем теперь о ней думать. Теперь надо войти в кухню, из которой доносится деловитый вечерний гул, и познакомиться с людьми, бок о бок с которыми ей предстоит провести следующий отрезок своей жизни. А прежний – забыть. Так она делала всегда, и ни разу еще не пришлось ей жалеть о таком ритме движения по жизни.

Но все же многое, многое из прежнего то и дело всплывало у нее в памяти.

Глава 9

«Я – понятно. А вот другие – почему они захотели пойти на сцену?»

Эта мысль приходила Полине в голову каждый раз, когда она гримировалась перед спектаклем в большой гримерной театра «Одеон» среди таких же, как она, артисток «на выход». Первичные мотивы, ведущие человека на актерский путь, интересны ей были потому, что для нее профессия была вторична.

Она решила быть актрисой только из страха перед тем, что ее жизнь пройдет самым обыкновенным образом. Как у всех. Как у ее родителей: рано утром папа уходит на работу в какой-то департамент, названия которого Полина не знает и не интересуется знать, потому что работа эта для папы случайна, и хотя он дорожит ею как зеницей ока, но лишь потому, что за нее платят деньги, на которые можно жить, и вот он выполняет весь день какие-то обязанности мелкого клерка, возвращается поздно вечером усталый, а мама тем временем идет на маленький рынок на углу, стараясь подгадать к тому моменту, когда торговля уже сворачивается и все становится дешевле, потом готовит, гладит и штопает одежду, убирает квартиру, потому что позволить себе прислугу они не могут, вечером они обедают втроем, потом читают каждый свою книжку, потом родители обсуждают, что интересного произошло за день, а Полина, прислушиваясь краем уха к их разговору, не понимает, как можно считать интересным то, что они обсуждают... И так каждый день, пять раз в неделю, и в выходные примерно то же, только вместо работы поездка в Булонский лес на пикник, но и в пикнике нет ничего интересного, потому что заранее известно во всех подробностях, как он пройдет, и ни разу не случилось, чтобы он прошел как-нибудь иначе. Или в гости к знакомым, жизнь которых так же однообразна, но им так же не скучно проживать эту жизнь, как и Полининым родителям.

– У нас есть причины не скучать, – сказала мама, когда Полина спросила ее однажды о том, чего сама не могла ни понять, ни объяснить. – Наша молодость пришлась на такое бурное время, что... Оно ушибло нас, Полинка. Выбило из нас все силы. Такое напряжение не проходит бесследно – мы надорвались. Мы постарели сразу же, как только добрались до Франции. Мне сорок лет, а я чувствую себя... Нет, не старухой, конечно, нет-нет, но все-таки пожилой дамой, у которой все главное в жизни уже прошло, и слава богу. Я больше не хочу ничего яркого, необыкновенного, пусть даже и в положительном смысле. У меня нет на это сил.

Выслушав это объяснение, Полина пожала плечами. Не наяву – ей вовсе не хотелось обидеть маму, – а мысленно. Как можно радоваться, что лучшее в твоей жизни уже прошло, она не понимала. Вот хоть убей, не понимала! То есть, конечно, когда жгут твой дом и убивают соседей, и ты лишь чудом успеваешь бежать из деревни в Москву, и там всех, кто тебе близок не по крови уже, потому что близких по крови просто не осталось, но хотя бы по воспитанию, – убивают тоже... Конечно, после этого будешь чувствовать себя напуганным и опустошенным. Наверное, будешь; так Полина старалась думать. Но на самом-то деле, внутри себя, она в это не верила.

Опустошение – навсегда? И никаких желаний – тоже навсегда? И считать, что вот эта серенькая, как парижский дождик, жизнь – единственное счастье на все оставшееся тебе на земле время?... Да ни за что!

Ее жизнь будет другою, это она решила твердо, еще когда училась в лицее. То есть это правильнее было назвать не решением, а просто знанием. Она – другая, ей не подходит однообразный цвет жизни, ей нужны яркие краски. Может быть, если бы она пережила то, что пережили родители, то была бы такая же, как они, но она – спасибо им – родилась уже здесь, в Париже, и натура ее проявляется так, как ей свойственно, а не так, как диктуют обстоятельства.

Но мало понимать, что ты хочешь яркой жизни, куда труднее понять, каким образом ее для себя добиться. Размышления об этом приводили в растерянность даже никогда и ни от чего

не терявшуюся Полину. Ну вот что ей делать? Сбежать из дому в Марсель и, переодевшись в мужское, проситься юнгой на корабль, отплывающий куда-нибудь в Перу? Понятно же, что это глупость несусветная. Никто ее юнгой не возьмет, а если возьмет, то недолго ей удастся притворяться мужчиной, а если и удалось бы долго, то в жизни юнги нет ровным счетом ничего из того, о чем она мечтает. Просто драишь палубу и лазаешь по каким-то вантам, или реям, или брамселям, или как их там называют, а кругом, сколько глаз хватает, одна лишь вода, которая только в первые три дня кажется отличной от воды на парижской мостовой после дождя...

Точно так же не привлекала Полину жизнь охотников за экзотическими животными, и ошеломляющие полеты авиаторов не привлекали тоже...

«Может быть, я просто боюсь труда? – спрашивала она себя. И себе же по справедливости отвечала: – Нет. Я упорна и делать над собой усилие умею. Я боялась холодной воды, меня это злило, я решила избавиться от этого глупого страха – и избавилась, и плаваю теперь осенью, в ноябре, и у меня даже насморка не бывает. Но зависимость труда от чужих и глупых людей, вот чего я боюсь безусловно, вот чего для себя не хочу ни за что!»

Неизвестно, каким выбором закончились бы все эти размышления – до окончания лица, который родители оплачивали полным напряжением всех семейных сил и средств, оставалось все меньше времени, – если бы не знакомство, ожидать которого было не то что совсем невозможно, но все же очень затруднительно.

– Лиза, Полинка, вы не представляете себе, кого я сегодня встретил!

Папу было не узнать. Во всяком случае, Полина его таким никогда не видела: глаза беспечно сверкают, на губах пляшет улыбка, кончики усов лихо закручены, и от всего этого кажется, что он помолодел лет на двадцать.

– Кого, Андрюша?

В мамином голосе слышался почти что испуг; Полина почувствовала его так же явственно, как папину радость. От любых потрясений, даже прекрасных, мама не ожидала хорошего.

– Сережу! – радостно сообщил папа. – Сережу Рахманинова. Он выходил, вообрази себе, из нотного магазина на рю Риволи, остановился купить фиалок, а я как раз расплачивался с цветочницей. Ты не представляешь, как он обрадовался!

– Представляю. – Мама улыбнулась. Даже улыбка не сообщала ее лицу видимости счастья. – Я бы тоже обрадовалась соседу и приятелю юности.

О том, что композитор Рахманинов был папиным соседом по тамбовскому имению, знала даже Полина, не считавшая сведения такого рода существенными. Еще в раннем детстве она поняла из родительских разговоров, что все сколько-нибудь незаурядные люди в России были приятелями детства или соседями – по дому в Петербурге, по переулку в Москве, по подмосковной даче или по имению в какой-нибудь дальней губернии. Так уж была устроена эта огромная страна, что все значительное в ней умному человеку невозможно было миновать, просто живя своей естественной жизнью. Отметив для себя однажды эту особенность, Полина не придавала ей значения. Та жизнь в России все равно кончена, и какая разница, как она была устроена?

А знакомых и соседей по той прежней жизни папа и мама встречали в Париже постоянно. Вот, еще одного встретили. Конечно, Рахманинов великий композитор, это всем известно, но ведь и Иван Сергеевич Шмелев тоже великий, он писатель, и папа даже нарочно давал Полине читать его рассказы, чтобы она усвоила настоящий русский язык, – а с ним родители встречаются не так уж редко... Одним словом, о встрече папы с Рахманиновым Полина забыла ровно через пять минут после того, как услышала.

И напрасно! Через три дня Рахманинов пригласил папу с женой и дочерью на свой концерт, а после концерта на ужин, а там, в ресторане... Там Полина увидела женщину, которая поразила ее так, как ни один человек, да и ничто вообще не поражало в жизни.

Она вошла, когда гости уже собирались сесть за стол, и все сразу же забыли об ужине, и все взгляды сразу обратились на нее. В ресторанном зале собралось много красивых, с тонким вкусом одетых дам, поэтому в таком мгновенном и всеобщем внимании к одной было что-то необъяснимое. Но не пугающее это было внимание – в вошедшей высокой, очень стройной женщине не было ничего зловещего или мрачного, – а магическое.

В этой женщине был вызов. В каждом ее движении, и во взгляде, и в повороте головы, и даже в том, что ее тонкий, с горбинкой нос был длиннее, чем допустимо, чтобы лицо могло считаться красивым, но при этом ее лицо было не просто красивым, а невыразимо прекрасным... Значительным оно было!

Вся она – и внешность ее, и проявленная через внешность суть – была значительна, вот что Полина поняла, ошеломленно на нее глядя.

На ней было платье из темно-золотой, с багровыми разводами ткани. Из-за своего цвета ткань казалась тяжелой, но в действительности была такой тонкой, что от каждого движения и даже вдоха колебалась, как занавес, и так же, как театральный занавес, скрывала за собою что-то небывалое, не принадлежащее никому, но всем обещающее загадку и счастье.

И в такой расцветке платья тоже был вызов, кстати, и на ком угодно другом оно показалось бы безвкусным, но на этой женщине – наоборот: в ее платье был стиль, и понятно было, что он создан ею и только ей присущ.

– Кто это? – спросила Полина у мамы, пока гостя здоровалась с Рахманиновым.

– Ида Рубинштейн, – ответила мама. – Балерина. Эпатажная, правда? Впрочем, с ее богатством можно себе позволить все что угодно, в том числе и эпатаж.

Полина так не считала. В лицее, где она училась, было немало девочек из очень богатых семей, и мельком, не слишком приглядываясь, но все же наблюдая за их родителями, она давно уже поняла, что само по себе богатство не делает человека значительным. Отец ее подружки Элен владел судовой верфями где-то в Польше и был богат как Крез, но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, как он скучен и зауряден.

Нет, богатство Иды Рубинштейн, конечно, имело значение, без него не закажешь у кутюрье такое платье из золото-багряного шелка, но оно являлось лишь обрамлением чего-то другого, присущего ей от природы и полностью ею воплощенного.

Весь вечер Полина не сводила с Иды глаз. Та сидела на другом конце стола, поэтому не было слышно, что она говорит, и только однажды, отвечая на вопрос какого-то пухлого господина, сидящего близко от Полины, Ида произнесла громко:

– Не вижу для себя выбора между путешествиями и искусством. Первое велико, но второе безгранично. А полная смена впечатлений необходима мне постоянно, иначе я чувствую себя больной.

– Гордыня, и вокруг себя гордыню сеет, – проворчал потом этот господин.

Он был прав – Ида лишь снисходила до окружающих, но отделяла себя от них категорически; этого невозможно было не заметить. У всех на глазах она создавала и себя, и свою жизнь, и правила своей жизни, и все вокруг нее подчинялось этим правилам, и это происходило не из-за ее денег и не из-за роскоши, которой она была окружена, а из-за одной лишь ее воли быть такой, какою она себя являла.

Так, значит, это возможно?... Возможно создать свой собственный мир, свои собственные правила, и если сделать это с уверенностью в своем на то праве, люди примут твои правила, и подчинятся им, и даже счастливы будут подчиниться!..

Так думала Полина, не отводя взгляда от Иды, и размышления эти наполняли все ее существо восторгом.

Когда шли из ресторана домой, она буквально выудила из мамы все, что та знала об Иде Рубинштейн.

– Ах, боже мой, да ведь я тебе уже объяснила: она эпатажна и экстравагантна! – Видно было, что маме не хочется говорить о таких опасных, с ее точки зрения, человеческих качествах. – И что еще о ней сказать? Ну, танец Саломеи она когда-то станцевала – сбрасывала с себя одно за другим семь покрывал и оставалась на сцене совершенно голая. Разумеется, это всех шокировало, церковь страшно возмущалась, все газеты о ней писали, и весь Петербург говорил.

– О ней и теперь пишут и говорят, – заметил папа. Поднялся ветер, и он повыше поднял воротник пальто. – Говорят, у нее при особняке под Парижем парк, в котором дорожки выложены мозаикой, и будто бы Бакст придумал в этот парк какие-то особенные лотки для растений, их каждую неделю переставляют, чтобы менять ландшафт.

Тут разговор прервался, потому что дождь хлынул как из ведра и всему семейству Самариных пришлось бежать домой бегом.

Но уже назавтра Полина отправилась в публичную библиотеку и прочитала все, что удалось достать об Иде Рубинштейн. Что там парк с мозаикой на дорожках! В особняке, где Ида принимала всю парижскую богему, висел золотой театральный занавес и были разложены на всеобщее обозрение пыточные инструменты из Сенегала, и самурайские мечи, и африканские ткани, а спальню ее охраняла пантера, которую иногда выводили к гостям.

Но главным было не это, а именно то, что Полина ощутила сразу: воля, с которой Ида настояла на своем праве быть самой собою. И балериной она сделалась, хотя природные ее данные этому не способствовали ничуть, и в сумасшедший дом ее родственники тщетно пытались упрятать, чтобы она не позорила фамилию... Все что угодно было в ее жизни, единственного не было – однообразия.

Это следовало осмыслить. Выйдя из библиотеки, Полина медленно шла домой от метро на площади Вогезов – они жили в маленькой съемной квартире в Марэ – и думала, что делать с тем ослепительным примером, который явила ей Ида. С чего ей начать, за что зацепиться, чтобы обозначить собственный путь и пойти по нему, невзирая ни на что?

Пантера и особняк с парком, где дорожки выложены мозаичной плиткой, – неосуществимо, это Полина понимала. Да и балет, наверное, тоже: все-таки ей уже шестнадцать лет, она никогда не танцевала, и поздно начинать. Но ведь артистическая карьера – это не обязательно балет...

Во время учебы Полина участвовала во всех лицейских спектаклях, и когда русская эмигрантская община ставила водевиль к Пасхе или разыгрывала «Вечера на хуторе близ Диканьки» к Рождеству, ее тоже всегда приглашали, и все говорили, что девочке Самариных непременно надо быть артисткой, у нее несомненные способности. Тогда она не придавала этому значения, потому что способности у нее были ко многому и постоянно обнаруживались новые, но вот теперь...

Когда Полина объявила, что после лицея намерена поступить в высшую театральную школу, это не вызвало у родителей восторга.

– Я так и предполагала, что ты выдумаешь нечто странное, – вздохнула мама.

– И почему ты не хочешь стать врачом? – расстроился папа.

«Ведь это верный кусок хлеба», – читалось в его глазах.

Но, наверное, они в самом деле не предполагали, что Полина выберет для себя какую-нибудь респектабельную буржуазную профессию, поэтому горевали недолго. К тому же – ведь их дочь наверняка обладает артистическим даром, и это наверняка будет замечено режиссерами, а затем и публикой, а значит, у нее будет успех, деньги и надежное жизненное положение. Насколько вообще что-нибудь может быть надежно в современном мире, где самая что ни на есть респектабельная страна Германия вдруг сошла с ума от любви к какой-то бредовой теории, которая оправдывает убийство людей.

Разочаровывать родителей Полина не хотела. Но чем дольше она училась актерскому мастерству, тем более очевидным становилось для нее, что присущая ей живость ума, склонность к неожиданным поступкам и притягательная внешность – эти качества она создала в себе и приbedняться была не склонна, – все это в совокупности не дает того загадочного явления, которое называется актерским даром.

Она старалась об этом не думать. Она прилагала все усилия для того, чтобы сделать артистическую карьеру. Она еще училась, но ее уже взяли в театр «Одеон», пусть пока на коротенькие роли, которые в России, она знала, назывались «кушать подано», но ведь это еще ничего не значит, это еще переменится, не может не перемениться!..

Но сколько бы Полина ни уговаривала себя не падать духом, страх обыденности, исчезнувший было после встречи с Идой и решения избрать артистический путь, – этот страх все чаще тревожил ее разум и подступал к сердцу.

Глава 10

В таком вот смятении сердца и разума возвращалась она вечером после спектакля домой.

Улица была пустынна, фонари горели тускло, и Полина думала о том, что не любит Париж и не любила никогда, хотя родилась в нем и выросла. Чего-то не хватало ей в этом городе.

До эмиграции родители жили зимой в Москве, а летом в имении под Тамбовом. Она предполагала, что ей могут быть приятны именно эти города, но когда разглядывала их дореволюционные фотографии, то никакой особенной приязни не ощущала. Возможно, ее город маячил еще где-нибудь впереди.

«Сколько можно? – сердито подумала Полина. – Все впереди да в будущем... Так и жизнь пройдет в пустом ожидании!»

Это все равно как надеяться на то, что когда-нибудь ее будет ожидать после спектакля сонм поклонников, и сверкающее авто, и роскошный ресторан, в котором все они станут праздновать ее поражающий воображение успех. Надеяться-то можно, но вот покамест она идет после спектакля по темной улице одна и пешком, и роль у нее в этом спектакле мизерная, не роль даже, а какой-то несущественный вскрик, и надеяться на успех в таком положении может только идиотка, а она совсем не...

– Эй, куколка, стой!

Этого следовало ожидать. Ее приняли за проститутку и хотят снять на два часа или на всю ночь. Не зря папа предлагал встретить ее после спектакля, и, может, следовало согласиться, но совсем уж это было бы стыдно.

Полина ускорила шаг. Человек, назвавший ее красоткой, тоже это сделал. Она услышала его дыхание прямо у себя за спиной, и сразу же в ее плечо вцепилась его рука.

И как только это произошло, она поняла, что не нужна ему никакая проститутка, а остановил он ее потому, что сейчас убьет. Смертью тянуло от него, как от подвала сыростью. Не оборачиваясь, Полина рванулась вперед – и тут же вторая рука убийцы оказалась у нее на горле и стала вдавливать в него медленно, но совершенно неотвратно.

Первый раз в своей жизни она видела человека, который наслаждался чужой смертью. То есть она не видела его, но чувствовала лучше, чем если бы смотрела в упор. И знала, что первая встреча с поглотителем жизни будет для нее последней.

Вероятно, он не только передавил ей горло, но и нажал на какую-то точку, которая отвечала за движение и зрение. Руки и ноги у Полины отнялись, а темнота перед глазами стала кромешной. И появились в этой тьме синие, красные, зеленые капли. Они были похожи на дождевые, но не летели косою сетью, как дождь, а плыли заволаживающе, так же, как угасало ее сознание.

«Если сейчас фиолетовая появится – будет мне удача», – медленно, в ритме этих разноцветных капель, подумала Полина.

Фиолетовая капля тут же появилась и полетела, тускнея, справа налево, но какую удачу могла она принести, разве только смерть без мучений, и...

И вдруг вместо всех этих разноцветных тускнеющих капель вспыхнул у нее перед глазами яркий свет! Слишком яркий, чтобы быть уличным. Полина упала коленями на асфальт – совсем он не мокрый, нет никакого дождя, тем более цветного – и, закашлявшись, схватилась руками за горло. В нем саднило, першило, но оно не было сломано или скручено, сквозь него проходил воздух, который она хватала кусками, как мороженое в детстве.

Ей хотелось лечь на асфальт плашмя и зажмуриться, но вместо этого она вскочила. Хотелось побежать прочь, не оглядываясь, но она стремительно обернулась.

Азарт хлынул в нее вместе с воздухом и оказался сильнее страха. Она впервые ощущала подобное, и ей стало весело, хотя веселого во всем происходящем было мало.

Картину, открывшуюся ее взгляду, смело можно было назвать эпической. Во всяком случае, именно такие картины Полина представляла себе, когда читала в лицее эпос о Нибелунгах. На пустынной улице дрались двое, и даже неверно было называть происходящее дракой – это было сражение. Один из сражающихся был низкорослый, с непомерно длинными руками – зрение у Полины обострилось необычайно, и она видела все отчетливо, будто при дневном свете, – а второй высокий и широкоплечий. Длиннорукий пытался обхватить его вокруг пояса и повалить, а он резко отшатывался то вправо, то влево и не давал ему это сделать. Видимо, поняв тщетность своих усилий, длиннорукий вдруг прынул вниз и обхватил все-таки высокого не вокруг пояса, а под коленями. Полина ахнула. Один рывок, сейчас длиннорукий его делает – и противник грохнется затылком об асфальт. Не успеет он оторвать от своих колен эти огромные цепкие руки!..

Но пока Полина об этом думала, высокий сделал совсем не то, что она могла предполагать. Руки убийцы он от своих колен отрывать не стал, а резко ударил того с обеих сторон по вискам ребрами ладоней. Убийца издал такой крик, какого Полине не то что слышать не приходилось, она не могла даже вообразить, что подобный звук может издавать человеческое существо, – и скорчился на асфальте. Он дернулся дважды коротко, потом еще раз длинно – и затих.

– Скорее, мадемуазель!

Высокий схватил Полину за руку и потащил прочь. Как ни странно, ей не пришлось в голову сопротивляться.

А может, не странно это было. Как в недавнем прикосновении руки убийцы к своему плечу она почувствовала его жажду чужой смерти, так в этой, сжимающей ее ладонь сейчас, руке – уверенность и власть.

Они шли быстро, почти бежали. Стук собственных каблуков по асфальту казался Полине невыносимо громким. Она вздохнула с облегчением, только когда свернули за угол, потом еще и еще раз и вышли на оживленную улицу на противоположной от «Одеона» стороне Люксембургского сада.

– Давайте присядем, – сказал Полинин спутник.

Это правильно. Через некоторое время труп длиннорукого найдут, и полиция начнет поиски убийцы. И лучше им сидеть к этому времени в ресторане среди сотен беспечных горожан, пришедших на традиционный пятничный ужин, а не кружить по улицам, привлекая внимание своей неприкаянностью.

Уверенность, что длиннорукий не просто потерял сознание, а именно убит, могла бы показаться странной. Но ощущения странности от того, что она так спокойно думает о чужой смерти, у Полины не возникало. И точно так же не казалось ей странным, что она держит за руку человека, который только что совершил убийство, и садится с ним за уличный столик ресторана.

– Поужинаем? – предложил он.

В его голосе тоже не слышалось ни тени удивления или хотя бы беспокойства о том, что его могут арестовать. И это тоже не казалось Полине странным, вот ведь как! Аппетита у нее, правда, все же не было, но это, пожалуй, было единственное, в чем проявилось ее волнение; еще полчаса назад она чувствовала голод и сразу по приходе домой вот именно собиралась поесть, несмотря на поздний час.

– Благодарю, я не голодна, – ответила она.

– Я тоже. – Он улыбнулся. – Но ведь после спектакля принято ужинать. И пить шампанское.

Полина насторожилась. Откуда он знает про спектакль?

– Я видел вас сегодня в театре. – Наверное, он заметил ее беспокойство. – Но я не шел за вами специально, поверьте. Просто узнал вас, когда... Уже потом я вас узнал.

– Шампанского выпью, – кивнула Полина. – Все-таки я взволнована, знаете ли.

– Неудивительно.

Он снова улыбнулся. Улыбка у него была не то чтобы обаятельная, но очень мужская – сдержанная. Это Полине понравилось. По крайней мере, не похоже, что он примется сейчас хвастать своим эффектным поведением. Хотя мог бы и похвастать, эффектным оно было без сомнения. И эффективным, кстати.

Подошел гарсон, Полинин спутник заказал шампанского. Только теперь, прислушавшись, она сообразила, в чем состоит особенность его речи; лишь волнение помешало ей заметить это сразу.

– Вы русский? – перейдя на родной язык, спросила она.

Он ответил тоже по-русски:

– Да. Сильно чувствуется акцент?

– Не сильно, – покачала головой Полина. – Но француз все-таки расслышит. А поскольку я и русская, и француженка, то и расслышала акцент, и поняла, что он у вас русский.

– Тогда закажем устрицы, а? – чуть смущенным тоном попросил он. – Я как московский гость о них мечтаю.

– А вы прямо из Москвы гость? – удивилась Полина.

– Да. Игорь Валентинович Неволин, – представился он.

– Полина Андреевна Самарина.

– Я знаю. Еще во время спектакля в программке посмотрел.

В длинном списке актрис «на выход» русская фамилия была только одна, поэтому его пронизательность Полину не удивила. А вот то, что именно ее игра привлекла его так, чтобы смотреть в программке фамилию, было, пожалуй, достойно удивления. Что могло его заинтересовать – ее возглас: «Скорее, скорее идите сюда! Дядя Поль умер»?

– У вас чрезвычайно притягательная внешность, – сказал Игорь Неволин. – Но не для театра.

Хорошенький комплимент!

– А для чего же? – хмыкнула Полина. – Для модной лавки?

Московский гость то ли не заметил, что она рассердилась, то ли не счел нужным обращать на это внимание.

– Для кино, – ответил он.

Однако! Не далее как сегодня, гримируясь перед выходом на сцену, Полина разглядывала себя в зеркале и думала ровно о том, что не пластика ее, не речь даже, а именно лицо могло бы привлечь внимание зрителей, если бы им удалось его разглядеть. Черты его неправильны, но так своеобразны, что на лицейских уроках живописи учитель даже говорил, будто она похожа на Даму с горностаем Леонардо да Винчи.

«Даму с горностаем» Полина знала только в репродукции, потому что сама картина находилась в каком-то польском замке, но другие портреты да Винчи – и «Джоконду», и «Прекрасную Ферроньеру» – она разглядывала в Лувре часами, а потому понимала, что означает такое сравнение. Это было самое убедительное признание ее незаурядности, какое только можно себе представить.

Но кто разглядит такие тонкости, как изгиб губ, разрез глаз или абрис щек актрисы на сцене? Разве что зрители первых пяти рядов. Иное дело кино – там есть крупный план...

– Неужели вы никогда не мечтали о карьере в кино? – спросил Неволин. – Трудно поверить.

– Не вижу смысла тратить время на мечтанья, – пожала плечами Полина. – Эта мысль пришла мне сегодня в голову, вы правы. Но это вовсе не значит, что теперь я стану перекачивать ее у себя в голове бессонными ночами.

– А что это значит?

– Что завтра же я пойду на киностудию показываться всем режиссерам, каких мне удастся там обнаружить.

– Решение верное, – кивнул он. – Но толку вы вряд ли добьетесь.

– Почему же?

– Потому что внешность у вас, как это ни странно для русской, совершенно европейская.

– Ну и что? – не поняла Полина.

– А то, что актрис с европейской внешностью здесь слишком много. То есть практически все актрисы здесь таковы. В Париже вы не произведете фурора.

– А где произведу? – усмехнулась Полина. – В Голливуде?

– Возможно, и в Голливуде. Но наверняка – в Москве.

– Я думала, вы говорите всерьез, – поморщилась она.

– Я и говорю всерьез.

– О том, чтобы я отправилась на кинопробы в Москву?

– Да почему же нет? – пожал плечами Неволин. – Вы производите впечатление незаурядной девушки. Неужели верите бреду, который рассказывают об СССР парижские белогвардейцы?

– По-вашему, я должна верить бреду, который рассказывают советские шпионы?

– Это вы обо мне?

– Хотелось бы верить, что нет, но...

– Я не шпион, – вздохнул Неволин. – А всего-навсего сотрудник Госкино. Слышали про такую организацию?

Про такую организацию Полина, разумеется, не слышала, она не имела привычки интересоваться посторонними для себя вещами, – но догадалась, что это должно быть нечто, управляющее в СССР кинематографом.

– Как мы с вами, однако, своевременно встретились, – иронически проговорила она. – Надо же, какое удивительное совпадение!

– Вы, конечно, вправе мне не верить, – сказал Неволин. – И совпадение действительно странное, я понимаю. Но это в самом деле всего лишь совпадение. Ну посудите сами, Полина Андреевна. – Он потер ладонью лоб. Кажется, его расстраивала необходимость оправдываться в том, в чем он не чувствовал себя виноватым. – Цель моей командировки – изучить положительный зарубежный опыт. В моей, разумеется, сфере, в кинематографе. Наладить связи, совместную работу. Всем известно, что лучшие киноактеры получают из театральных. Это школа, это уровень – мастерство, как говорится, не пропьешь. Естественно, что я отправился в театр. И увидел вас. И ваше лицо меня поразило.

– Это тоже естественно? – спросила Полина.

– Да.

Его небольшие, узко поставленные глаза смотрели умно и внимательно.

– Послушайте, Игорь Валентинович, – сказала Полина. – Вы полчаса назад у меня на глазах убили человека. Вы сделали это профессионально и хладнокровно. И вы хотите, чтобы я поверила, будто вы занимаетесь кинематографом?

– Почему вы решили, что убил? – Он пожал плечами. – Пи... пенделя хорошего дал, вот и все. И никакого на то профессионализма не требуется. Я в Марьиной Роще вырос, Полина Андреевна. Это, чтоб вы понимали, самый что ни на есть хулиганский район Москвы. А умение драться достигается упражнением, как писатель Булгаков – по другому, правда, поводу – заметил.

Официант принес шампанское, откупорил и, ловко отмеряя пену, разлил по бокалам.

– Давайте выпьем за нашу встречу, – сказал Неволин. – Чтобы она стала не простой случайностью, а счастливой.

– А кто такой Булгаков? – отпив шампанского, спросила Полина.

– Неужели не знаете? – удивился Неволин. – Булгаков Михаил Афанасьевич, писатель первостатейный. А драматург какой! Пьесу «Дни Турбиных» тоже не знаете? А она между тем во МХАТе не то что успех – фурор имеет. В Москве непременно сходим, – словно о само собой разумеющемся, сказал он.

И в ту минуту, когда он так сказал, будто бы разноцветные стеклышки повернулись у Полины в голове. И сложилась из них совсем другая картина мира, чем была до сих пор.

Полина знала, что не относится к людям, которыми можно манипулировать. Скорее, сама она без особенного труда могла добиться чего хотела от любого человека, даже от совсем незнакомого. И сейчас ей не казалось, что она поддалась обаянию, или влиянию, или силе убеждения, или даже гипнозу какому-нибудь. Нет, дело было именно в том, что она сама, внутри себя вдруг поняла: мир совсем не обязательно выглядит так, как она полагала до сих пор. Можно взглянуть на него с иной точки зрения, и он сразу же переменится, сразу откроются такие его стороны, которые до сих пор были от нее скрыты.

Эта мысль – на самом-то деле мысль о неограниченных возможностях – так поразила ее, что она замерла с наполовину выпитым бокалом в руке.

– Вы в самом деле считаете, что я могла бы иметь успех в советском кино? – спросила она наконец.

– Не сомневаюсь, – кивнул Неволин. – И потом, Полина Андреевна, ну что такое актерский успех? Вы наверняка сами наблюдали, как он возникает. Да, необходимы исходные данные – талант, внешность, хорошая школа. Но этого мало, скажем прямо.

– Еще нужна удача, – сказала Полина.

– А что такое удача? Это некая движущая сила. То есть такая, которая двигает талантливого человека в правильном направлении. Туда, где его заметят. Будет у актрисы хорошая роль в хорошем фильме у хорошего режиссера – и вот пожалуйста, она звезда. А не будет – и пропадет в неизвестности со своим талантом, и с внешностью, и со школой.

– А позвольте вопрос? – сказала Полина. – Правильная сила – это, надо понимать, вы? Вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей?

– Это два вопроса. Причем между собой они не связаны.

– И?..

– И на оба я отвечаю: да.

Что ж, не зря она сразу, по одному лишь прикосновению ладони почувствовала в нем уверенность и власть. Это не была власть над нею, Полиной Самариной; не родился еще такой человек, который имел бы над нею власть, и не родится никогда, наверное. Но на жизнь, на ту жизнь, которой она хотела бы для себя, его власть распространяется. И своей властью он готов предоставить эту жизнь ей. Что ж...

– Что ж, Игорь Валентинович, – сказала она. – Я согласна.

– На что? – быстро спросил он.

– Поехать в Москву на кинопробы. А вы что подумали?

Неволин наконец расхохотался.

– Ну вы и язва! – сказал он сквозь смех. – И правильно. Пресная женщина не сможет стать настоящей актрисой. А вот наконец и устрицы. К морю, что ли, за ними ездили?

Пока официант устраивал на маленьком столе большое блюдо, на котором во льду были разложены две дюжины устриц, Полина встала.

– Сейчас вернусь. Я должна телефонировать, – сказала она. – Дома волнуются.

– Муж?

– Родители.

Она вошла внутрь ресторана и прошла к телефону, стоящему в отгороженном бархатной шторой закутке у туалетной комнаты.

– Где же ты? Спектакль давно закончился! – Мамин голос звучал встревоженно. – Может быть, папа все же за тобой приедет?

– Не надо, – отказалась Полина. – Сегодня был успех, мы в ресторане, празднуем всей труппой. Я вызову такси, мамочка, не беспокойся.

– И когда же ты будешь дома?

– Утром.

Глава 11

Когда закончили ужинать и вышли на улицу, парижский вечер был еще в самом разгаре. Выходные предстояли длинные, потому что за ними следовал Троицын день, и горожане, не разъехавшиеся по своим загородным домам в Нормандию или в Прованс, отдавались отдыху самозабвенно и безоглядно. Знаменитое парижское «санти» – «выйти вечером» – наполняло город такой радостной, такой беспечной жизнью, что сидеть дома казалось просто глупостью.

– Поразительное дело парижская толпа, – сказал Неволин. – Ее и толпой-то не назовешь. Каждый – личность!

– Не преувеличивайте, – пожала плечами Полина. – Люди как люди.

– Вообще-то да, – кивнул он. – У нас люди лучше.

– Интересно, чем же? – усмехнулась Полина.

– Целью.

– Построить рай на земле?

– Вот вы смеетесь, а человек без большой цели жить не может. И не должен. Тем более русский человек. Мы же не французы, не индивидуалисты. Мы – вместе. Русскому на миру, как говорится, и смерть красна.

– Не агитируйте меня, Игорь Валентинович, – поморщилась Полина. – Смерть меня ничуть не соблазняет. Тем более на миру. А в Москву я поеду, уже ведь сказала.

– А я закрепляю успех! – засмеялся он.

– Для этого не обязательно говорить пошлости.

– В чем же пошлость? – обиделся он. – Что я русских людей высоко оцениваю?

– Философ Владимир Соловьев, если вам такой известен, считал, что эта лестница ведет в ад.

– Какая лестница? – не понял Неволин.

– От национального самосознания к национальному самодовольству, от него к самообожанию и в итоге к самоуничтожению.

Неволин ответил не сразу. Видимо, не ожидал от парижской актрисульки таких познаний.

– Вы хорошо образованы, – заметил он наконец.

– Родители не готовили меня в актрисы.

– А в кого они вас готовили?

– Если бы знать! – засмеялась Полина. – А вообще, Игорь Валентинович, сейчас не время для умных бесед.

– Для чего же время?

Его вопрос прозвучал сердито. Пожалуй, он счел, что она посадила его в лужу, этого он не ожидал, и это было ему неприятно.

– Для того чтобы пойти к вам в отель и остаться наконец вдвоем, – глядя прямо ему в глаза, сказала Полина.

Этого он, кажется, ожидал еще меньше. Смирился уже, наверное, с тем, что и совместный ужин, и даже мгновенное согласие ехать в Москву означают в Полинином случае одну лишь взбалмошность, а никак не обещание близости.

Что ж, довольно она поводила его за нос. Огонь авантюризма, так неожиданно разгоревшийся в ней, требует все новых и новых дров. И пусть летит в этот огонь вся ночь без остатка!

– Где вы остановились? – чтобы вывести Неволина из оторопи, спросила Полина.

– В «Истрии». На рю Кампань-Премьер, – машинально ответил он.

«Пожалуй, и впрямь не шпион, а простой советский импресарио, – подумала Полина. – Шпион поселился бы роскошнее».

Крепко держа ее за руку – видно, не знал, что еще взбредет ей в голову, не сбежит ли, – Неволин подозвал такси.

В автомобиле он сидел напряженно, как подросток, к которому неожиданно проявила благосклонность одноклассница: и сам вроде этого добивался, и не верится, и растерян... Это было трогательно. Он нравился Полине тем больше, чем больше проявлений живости и искренности она в нем находила.

Улочка Кампань-Премьер была совсем коротенькая, отель «Истрия» совсем маленький. Все в нем, начиная от стойки портье, было такое миниатюрное, будто кто-то решил поиграть в настоящую взрослую жизнь и сделал копию настоящих взрослых вещей. И коридор можно было пройти в два шага, и в номере на пяточке прихожей вдвоем можно было только стоять...

Они и стояли, целуясь. Стали целоваться сразу же, как только закрыли за собой дверь.

Едва ощутив прикосновение его губ, Полина поняла, что ее первое впечатление о Неволине – точнее, о своем от него ощущении – не было ошибочным. Сила и уверенность чувствовались в его поцелуях так же, как в первом прикосновении его руки, и во взгляде, и в интонациях... Ей не была свойственна пустая романтичность, она не грезила о возвышенном герое, да ни о ком она вообще не грезила, ей чуждо было само это занятие, но вот теперь, когда первый в ее жизни мужчина сжал ее в объятиях и принялся целовать, она почувствовала, что это именно то, чего она хотела. Не ментально, не спиритуально, не возвышенно, а просто физически то, что ей подходит, нравится, что мгновенно, едва начавшись, делается частью ее, вносит ту ноту, без которой ее прежняя жизнь, оказывается, была неполной. Такой же неполной была ее жизнь без его поцелуев, как без мощного чувства азарта, хлынувшего в нее, когда руки убийцы отпустили ее горло. Как же она не знала, что поцелуи равны спасению от гибели?

Многого она в своей прежней жизни не знала! И без теперь узнанного больше жить не собирается.

Все же Полина ощущала некоторую тревогу. Никаких возвышенных переживаний грядущая потеря невинности у нее не вызывала, но вызывала опаску неизбежная боль. Из-за этой опаски, пока Неволин расстегивал длинную вереницу маленьких пуговиц на спине, снимая с нее муслиновое платье с рисунком из ярких маков – делал он это, кстати, очень умело, – ничего похожего на вожделение, на страсть или на что-либо подобное Полина не испытывала.

Но вот когда он опустился перед ней на колени, и прижался губами к кружевной резинке ее чулка, и потянул потом эту резинку вниз зубами, – тогда-то по ее телу наконец пробежала та самая дрожь, которая в романах называлась электрической искрой.

Стянув с Полины чулки, Неволин положил руки ей на бедра и сильным нетерпеливым движением развернул ее к себе. Он по-прежнему стоял перед нею на коленях, и теперь она ощущала его дыхание у себя между ног. Это было так чувственно, так бесстыдно и так прекрасно, что у нее потемнело в глазах. Точно так же, как в то мгновение, когда рука убийцы сжала ее горло!

Наверное, такое сходство поразило бы Полину, если бы она способна была это обдумать. Но какое там!... Мыслям не осталось места в ее голове – в ней полыхал сплошной огонь. Быстро и сильно распалил ее этот мужчина!

Она думала, что Неволин отнесет ее сейчас на кровать – опаска перед болью опять мелькнула в пылающей голове, – но нет, он продолжал целовать ее живот, вел по нему дорожку губами, языком, и опаска исчезла, растворилась в сплошном удовольствии, которым так неожиданно оказалась физическая любовь. Полина не предполагала, что это будет так.

На кровати они все же очутились, но к тому времени, когда у нее исчез уже и страх перед болью, и способность думать исчезла полностью. Все исчезло, что относилось к области рации, обычно такой сильной в Полинином существе.

Ноги ее были теперь раскинуты с тем же нерассуждающим бесстыдством, с каким Неволин только что целовал ее, стоя перед нею на коленях, руки обнимали его за шею, очень креп-

кую, а голова, откинутаая назад, моталась по подушке, и звуки, вырывающиеся из полуоткрытых губ, только напоминали вскрики боли, на самом же деле не боль они выражали, а одно только счастье. Вот, оказывается, что такое счастье! Как же она не знала его до сих пор?..

Тело у Невolina было тяжелое и широкое; в этом состояло особенное удовольствие от его объятий. Он придавил Полину сверху мощным своим костяком, ее косточки под ним захрустели, она даже вскрикнула, но он не обратил на ее вскрик внимания, и правильно сделал. Она сама не знала, чего в этом вскрике больше, боли или удовольствия.

А вот в том, что он делал с нею дальше, точно была только боль. Полина не была мазохисткой, чтобы это могло ей понравиться. Но зато от боли, разрывающей ее изнутри, сознание у нее немедленно восстановилось.

«Что ж, – подумала она этим своим прояснившимся сознанием, – потеря девственности и должна быть болезненной, это естественно. Но это ведь только один раз так, надо полагать. В следующий раз боли уже не будет, а вот все остальное останется».

Остальным она называла огонь, вспыхивающий во всем теле от бесстыдных мужских поцелуев, и вихрь в голове, и звон в костях. Все это повторится непременно.

Покуда Полина размышляла таким образом, мужчина, к которому ее размышления относились, вскинулся над нею, глухо вскрикнул, задрожал и забился так, будто боль теперь пронизывала его. Полина уже ничего не ощущала, поэтому оценивала происходящее внимательно и с определенным интересом. Лицейский преподаватель алгебры считал, что у нее аналитический ум, прочил ей научную карьеру и был очень разочарован, когда она выбрала артистическую, зарыв таким образом, как он заметил, свой талант в землю. А вот – пригодилась-таки способность к анализу!

Подумав об этом, Полина едва сдержала смех. Интересно, что сказал бы Неволин, если бы догадался, что она анализирует в такой возвышенный момент? Впрочем, он не производит впечатления идиота, чтобы воспринимать происходящее как нечто возвышенное. Приятное – да, безусловно. Для нее приятна была первая часть действия, для него, скорее всего, вторая, но оба они получили удовольствие друг от друга, это несомненно.

Неволин отпустил Полину и, перекатившись на спину, лег рядом. Она покосилась на свои плечи: сильно он их сжимал, не останется ли синяков? В фонарном свете, падающем с улицы, этого было не разглядеть.

– Спасибо, Полина. Мне было очень хорошо с вами.

Ей понравилось, что он не перешел на «ты».

– Не буду обманывать, Игорь, – ответила она. – Вы мой первый мужчина, поэтому мне было скорее больно, чем хорошо. Но дальше будет лучше, я думаю.

– Дальше будет лучше, – помолчав, подтвердил он. И повторил: – Спасибо.

«Как много всего вошло в мою жизнь вместе с ним, – глядя на него, подумала Полина. – И как же сразу я это почувствовала! Верно, ждала чего-то подобного, сама того не сознавая. Что ж, пойдем дальше по пути перемен. Куда-нибудь он меня да выведет».

Вот, вывел ее этот путь на Малую Молчановку, в длинный коридор московской коммуналки. И как все это ни убого – главное, голова ее цела, а голове ее цены нет, и голова ее придумает, как переменить жизнь. Не однажды она вырывалась из очерченного ей людьми и обстоятельствами круга, вырвется и на этот раз.

Хотя на этот раз круг, следует признать, больше напоминает глухую стену. И существа, эту стену охраняющие, посерьезнее будут, чем львы у входа в Дом, где ей назначено жить.

Глава 12

Зря Дом со львами вызывал у Вики тревожную опаску. Он-то и принес ей удачу в Москве.

Через неделю ежедневных визитов туда ей показалось, что все его жилыцы только тем и озабочены, чтобы нарастить ресницы и сделать японский маникюр, технологию которого она освоила так, на всякий случай, а оказалось, что очень даже кстати.

Дочь Антонины прилетела в Москву с двумя подружками, все они захотели нарастить ресницы из интереса, и результат оказался для них такой приятной неожиданностью – «ой, мы думали, будут как у кукол, а они как свои, ну не отличишь от настоящих!» – что они немедленно сделались Викиными постоянными клиентками и тут же бросили ссылок на ее блог другим своим подружкам, а те своим...

Через неделю Вика работала уже ежедневно с утра до вечера, и если бы можно было увеличить сутки вдвое, то клиентов у нее на такие двойные сутки хватило бы тоже.

– У тебя, Вичка, собственный почерк, – сказала однажды, разглядывая в зеркале новенькие ресницы, ее свежеиспеченная клиентка Анна, женщина неопределенных занятий и определенного, размером с пентхаус и «Бентли», состояния. – Нижние реснички тоненькие делаешь, а верхние вроде почти и не изогнутые, но глаза от них такие огромные становятся – обалдеть!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.